Частная жизнь Сергея Есенина

Владимир Ткаченко
Константин Ткаченко

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

После смерти Сергея Есенина писатель Леонид Леонов сказал:

— Крупнейший из поэтов современья…

— Его песни поют везде — от благонадежных наших гостинных до воровской тюрьмы. Потому что имел он в себе песенное дарование, великую песенную силу в себе носил…

— Он уже больше не придет и не пошумит, Есенин…

— Он вечный бунтовщик и крамольник, чудо природы, уникальная фигура в истории XX столетия.

- Владимир и Константин Ткаченко
  - СЕРГЕЙ ЕСЕНИН — ЧЕЛОВЕК И ПОЭТ
  - ПОЭТ И ЖЕНЩИНЫ
  - В СЕЛЕ КОНСТАНТИНОВКЕ, В СЕМЬЕ КРЕСТЬЯН
  - ПЕРВЫЙ БРАК — ГРАЖДАНСКИЙ
  - ПЕРВАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ЖЕНА
  - С ПОЭТЕССОЙ М. ЦВЕТАЕВОЙ
  - ТАНЦОВЩИЦА АЙСЕДОРА ДУНКАН, ВТОРАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ЖЕНА
  - ВЕРНАЯ ПОДРУГА Г. БЕНИСЛАВСКАЯ
  - АННА БЕРЗИНЬ
  - АННА АХМАТОВА
  - НОВАЯ ЖЕНА С. ТОЛСТАЯ
  - ЛЮБИМАЯ АКТРИСА А. МИКЛАШЕВСКАЯ
  - ПОЕЗДКИ
  - ОТНОШЕНИЯ С РОДНЫМИ
  - ДУШЕВНЫЙ КРИЗИС
  - ЛИТЕРАТУРА

Владимир и Константин Ткаченко
Частная жизнь Сергея Есенина

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН — ЧЕЛОВЕК И ПОЭТ

Судьба наградила Есенина уникальным творческим даром и это позволило ему стать великим русским поэтом.

Внешне Есенин всегда выглядел моложе своих лет. В 20 лет, уже находясь в Петербурге, он, по воспоминаниям современников, выглядел 15-летним мальчишкой. А в это время у него уже подрастал сын Юра, а сам поэт был занят размещением подборок своих первых ярких, удивительно сердечных стихов в петербургских журналах. У него было приятное мальчишечье лицо с доверчево-наивными глазами, смотревшими из-под курчавых белокурых волос.

В том же 1915 году в молодом Есенине было еще много мужицко-детского и не развернувшейся удали — тоже ребяческой. Его называли: “Богатый талантами, почти мальчик”.

Через 5 лет, весной 1920 года, в 24 года, Есенин выглядит юношей 17-18 лет, хотя он уже отец двоих детей. С молодых лет у Есенина начала проявляться раскованность в поведении, которая видимо, была следствием его неуравновешенного характера. Он допускает большие вольности в поступках, беспричинно и внезапно начинал веселиться. Единственный из всего класса спасклепиковской второклассной школы, Сергей Есенин получил пятерку с двумя минусами по поведению, что сделало невозможным получение работы по специальности учителя церковноприходских школ.

Улыбка у него всегда была светлая, притягательная; смех — заразительным. Он умел искренне радоваться самому малому пустяку. Когда в начале 1922 года Айседора Дункан подарила ему дорогие золотые часы, он беспрестанно открывал их, любовался, закрывал, убирал в карман, снова доставал и открывал, и все это по-детски улыбаясь и радуясь.

Когда Есенин и Дункан поженились, у них появилась переводчица Лола Кинел, для перевода бесед супругов. В ее представлениях Есенин был “вежливый, уклончивый, прикидывающийся дурачком, но довольно скрытный, с таким хитрым выражением в уголках глаз…”

И все же однажды, за рассказом о себе, Есенин немного раскрылся перед Киндел:

— Его голос был тихим, и глаза его были мечтательными, и в нем было то, что заставляло меня думать, что душа его похожа на ребенка, талантливо-мудрую, но совершенно нежную.

Лев Троцкий, хорошо знавший стихи и самого Есенина, писал о нем:

— Он нередко кичился резким жестом, грубым словом. Но надо всем этим трепетала совсем особая нежность, неограниченной, незащищенной души. Полунапускной грубостью Есенин прикрывался от сурового времени, в какое родился… Прикрывался маской озорства, и отдавая этой маске внутреннюю, значит, не случайную дань, Есенин всегда, видимо, чувствовал себя не от мира сего.

При всем этом Есенин как человек характеризовался необычайной добротой, необычайной мягкостью, необычайной чуткостью и повышенной деликатностью.

В тоже время желание почудить, а также различные фантазии и странности сопровождали поэта все жизнь. Приехав как-то в свое родное село Константиново, и будучи уже известным поэтом, Есенин ночью решил позабавиться: в полночь вышел на перекресток дорог одетый колдуньей — нарядившись в белую женскую рубашку. По дороге шли плотники. Увидев машущую руками “колдунью”, они побросали от страха свой инструмент и разбежались кто куда. Есенин подобрал ящики с инструментами, чтобы не пропали, и перенес их на крыльцо своего дома, а сам пошел спать.

Когда набирали солдат в армию из села Константиново, над селом висел заунывный бабий вой. Это днем. А когда к ночи село затихало, Есенин пробирался к двери какой-нибудь избы, и, подражая женщинам, голосил все ночь, за что его неоднократно собирались побить.

В другой раз, в Батуме, на Приморском бульваре, заполненном гуляющими, ему захотелось почистить туфли двум симпатичным, нарядным дамам, сидевшим на скамейке. Он отобрал сапожный ящик у мальчишки и ринулся выполнять свою причуду. Друзья еле его утихомирили.

В его большом воображении появлялись и “преследователи”, от которых он убегал. Это произошло, когда Есенин уже стал тяжело больным человеком.

Однажды ему показалось, что “преследователи” подобрались к дому на Пречистенке, в котором он жил. Есенин спрыгнул из окна второго этажа, остановил первого попавшегося извозчика, и заставил его гнать во весь опор, чтобы оторваться от “преследователей”.

Он запасается длинной веревкой, чтобы спускаться с седьмого этажа и оставлять “с носом” своих “преследователей”, если они еще раз появятся.

Рассказывая своим друзьям об этих приготовлениях, Есенин радовался как мальчишка.

Есенин любил придумывать всякие затеи, проделки и

неожиданности, совершать странности, которые его друзья называли “причудами” или “чудачествами”. Ему нравилось, когда какой-нибудь его поступок вызывал удивление. Для него было настоящим наслаждением ошарашивать окружающих чем-нибудь неожиданным и необычайным. Есенин любил строить планы замаскированно-шутливые, а иногда просто неисполнимые, чтобы поразить кого-либо необычайным замыслом. Сам Есенин так говорил об этих чудачествах и проделках:

— Без этих чудачеств я прожить на земле не могу.

Самые важные дела Есенин иногда собирался выполнять ночью. Ночами звонил по телефону, поднимая людей с постели и беседуя о делах, не обращая внимания на часы.

В Париже, куда Есенин приехал с Айседорой Дункан, он попросил ее купить ему корову. Он рассказывал об этом эпизоде так:

— Как только мы приехали в Париж, я стал просить Изадору купить мне корову. Я решил верхом на корове прокатиться по улицам Парижа. Вот был бы смех! Вот было бы публики! Но пока я собирался это сделать какой-то негр опередил меня. Всех удивил: прокатился на корове по улицам Парижа, вот неудача для меня! Плакать можно!

Необычайные, фантастические идеи, способные любого порадовать и озадачить, неотступно и регулярно овладевали сознанием Есенина, становясь на какое-то время основным содержанием его жизни. В то же время они являлись дополнительной “подпиткой” для его жизненных сил.

Основное в натуре Сергея Есенина — редкостный поэтический дар; но был и страх одиночества, и стремление постоянно, везде и всюду, “удивлять неожиданностями” окружающих: в стихах, в поступках, в стиле жизни, в склонности к розыгрышам.

Есенин — в своем творчестве — был чрезвычайно непосредственным поэтом. Несмотря на прожитые годы он неизменно продолжал оставаться по-детски впечатлительным и непредсказуемым, ребячливо озорным. В этой связи Галина Бениславская, любившая Есенина, писала, что “дьявольская хитрость” уживалась в нем с редкой, чуть ли не детской наивностью:

— Он, при всей его дьявольской хитрости, в сто раз наивнее меня. Поэтому во мне никогда не было почтительного преклонения перед ним, как перед человеком.

Другая женщина, бывшая многие годы соседкой Есенина по коммунальной квартире, писала о нем:

— Он искал пристанища, искал уюта, тепла. Но ничего этого

у него не было. Он был беспомощен, как двухлетний ребенок; не мог создать нужной для себя обстановки, устроить просто, по-человечески, свою жизнь… Есенин людям не верил, был, что называется, “себе на уме” и людей видел насквозь.

— Для Есенина была характерна переменчивость настроений, их перепады: сейчас смех, потом глубокая задумчивость, затем грусть, тоска, скука, — то есть целый калейдоскоп настроений. Он быстро, почти стремительно, переходил от взрывов веселья к самой черной меланхолии. Такими же резкими были переходы в его поведении: от кротости и мягкости к жестокости, почти садизму.

Современники поэта замечали, что было два Есенина: один — печальный, надломленный и одинокий; другой — обращенный к людям, времени, жизни. Улыбающийся, смеющийся, брызжущий весельем и радостью поэт — таким его запомнили многие. Но самом деле у Есенина ни подлинной радости, ни настоящего веселья не было: было лишь стремление скрыть его малопонятную окружающим грусть и отчаяние, что этой грусти так много; было желание спрятаться за показным весельем, не обнаружить перед другими себя настоящего, неуверенного в себе, вечно сомневающегося, постоянно ищущего ответы на какие-то свои вопросы.

В тоске и отчаянии Есенин надевал на себя “маску” веселья. О ней он писал Маше Бальзамовой в июле 1912 года: “…Я стараюсь всячески забыться, надеваю на себя маску веселия, но ели-ели заметно. Хотя никто, я думаю, не догадывается о моей тоске…”.

В дни, свободные от своего болезненного пристрастия к алкоголю, Есенин занят работой. Он как-то сказал: “Пьяным я стихов не пишу”.

При появлении у него неожиданной мысли он мог сразу, в самый разгар шумного веселья стихнуть и уйти в себя.

Мастерить “маску веселья” и преодолевать прирожденную робость перед публичными выступлениями, особенно когда необходимо было преодолеть приступ депрессии, а выступать решительно не хотелось, Есенину помогала бутылка. В последние годы жизни он напивался перед каждым публичным выступлением. Отсюда и его следующие стихи:

Мутно гляжу я на окна.
В сердце тоска и зной.
……..
Я уж готов. Я робкий.
Глянь на бутылок рать!

Я собираю пробки.
Душу мою затыкать.

Два человека вели в Есенине тяжкую, глухую и постоянную тяжбу: юноша с кроткими глазами, более синими, чем ясное осеннее небо, внимательный и сосредоточенный, простой и искренний, чуткий и даже застенчивый, скромный и понимающий, влюбленный в жизнь, — и городской гуляка, забияка, скандалист и озорник, безрассудный мот и больной человек менявший позы, нарочито подчеркивающий и заострявший свои противоречия, обнажавший их на показ, игравший им, как он говорил, для: “для авантюристических целей в сюжете”. Из-за этой двойственности в борьбе двух душ и сгорел Есенин как человек и поэт.

Поэт Юрий Лебединский, который хорошо знал Есенина, писал:

— Он двойствен, расколот, дисгармоничен, подвержен глубоко различным настроениям, часто совсем противоположным. Прочного, твердого ядра у него нет. Хулиганство у поэта сопрягается со смиренностью, с беззлобностью, тоска по родному краю — с тягой к городу, религиозность — с тем, что называют святотатством, тонкий, чарующий, интимный лиризм — с подчеркнутой грубостью образов, животность — с мистикой.

У Сергея Есенина была феноменальная память и богатое воображение, благодаря чему мир его фантазии не знал границ. Он много фантазировал в своих автобиографиях, рассматривая их как один из жанров художественного творчества, куда доступ вымыслу естественен и закономерен. Постоянно фантазируя в повседневной жизни, поэт в то же время насыщал стихотворения легко узнаваемыми реалиями из своей жизни.

Правдивость — одна из характерных черт творчества Есенина. Существует непосредственная связь между сюжетом в его стихотворениях и реальными событиями из жизни поэта. У него нет “выдуманных стихов”. Каждая строчка его поэзии говорит о чем-то конкретном, имевшем место в его жизни. Все — вплоть до имен, которые он называет, вплоть до предметов, которые его окружали или которыми он пользовался. Эта была та стихия, где он всего себя обнажал.

Есенину были свойственны мнительность, недоверчивость, подозрительность. О его необыкновенной мнительности говорит то, что ему постоянно казалось, — его никто по-настоящему не любит и не ценит, что он одинок, что с возрастом он стал

некрасив, что у него посерели волосы и обрюзгло лицо, и что женщины приближаются к нему только с целью наживы, и чтобы в дальней у них был повод похвастаться знакомством с ним перед друзьями или знакомыми.

Поэт был по своему хитер и умел хорошо притворяться, знал людей, и если кого-нибудь узнавал с отрицательной стороны, или узнавал какую-нибудь одну черту, которая была ему ненавистна или неприятна, — и, если не прерывал с ними всякого контакта, был с ними последовательно груб и настойчиво резок.

У поэта была, на протяжении всей его жизни, маниакальная страсть к ряженью, которая, возможно, происходила от одной из его страстей — “удивлять неожиданностями”. Нельзя, однако, рассматривать страсть к ряженью только как форму поведения Есенина, — это была и “защитная маска” его личности, которая предохраняла ее от возможного проникновения проницательного наблюдателя, который во всеуслышание мог расставить точки над “i”, открыв посторонним ранимость души поэта.

В цилиндре и накидке поэт стремился походить на Пушкина. У себя на родине, в селе Костантиново, на одно их свадеб, он вырядился девушкой.

Чтобы обратить на себя внимание он ходил по Константинову, по московским улицам, в Ленинграде с петухом на голове. Всякий маскарад был его страстью. К красивой одежде Есенин всю жизнь питал слабость и нередко покупал вещи, ему совсем ненужные.

Подлинной бедой Есенина была его исключительная впечатлительность. Он слишком легко подчинялся чужому влиянию и охотно слушал всякие советы, особенно если они льстили его неутолимому самолюбию.

Общительному характеру поэта очень льстило затискивающее поклонение и скороспелое приятельство льнувшей к нему окололитературной богемы.

Человек добрый и бесхарактерный он быстро поддавался всякому, кто поддерживал в нем пустое славословие и тяготение к саморекламе.

В то же время Есенин не позволял себе небрежности в работе над словом, ценил способность к упорному труду и сам работал очень много. Внешние тревоги и беспокойства рассеянной жизни далеко не определяли его сущность. Поэт умел не только задумываться, но и глубоко думать, всесторонне “исследуя” в сознании тот предмет, или ту тему, на которую он сочинял стихи. Ему были свойственны тщетные поиски внутреннего равновесия, стремления найти ускользающую точку опоры, минуты упадка и болезненные взгляды на вечное неустройство внешней жизни и в

то же время подлинное беспокойство духа и неутолимая жажда настоящей правды.

С. Есенин высоко ценил себя как поэта и считал “хозяином русской поэзии”. Свое вступление к сборнику “Стихи скандалиста” 20 марта 1923 года в Берлине поэт начал так: “Я чувствую себя хозяином в русской поэзии”.

В стихотворении “Разбуди меня завтра рано…” поэт утверждал:

Расступаются в небе тучи,
Петухи льют с крыльев рассвет…
Давно уже знаю, что я самый лучший,
Самый первый в России поэт!

В начале своего поэтического пути (1916 год) Есенин возразил одному из своих оппонентов:

— Что мне Пушкин! Разве я не прочел Пушкина? Я буду больше Пушкина.

Позже (1920 год), когда ему противоречили, он возмущенно отвечал:

— Ты кто такое? Г…но, а я… я Есенин! Меня знает вся Россия!

Есенин не переносил малейшей критики в свой адрес. Как-то в союзе писателей Есенину предложили обсудить его поэму “Анна Снегина”. Поэт от обсуждения наотрез отказался:

— Вам меня учить нечему, вы сами все учитесь у меня.

Накануне выезда за границу с А. Дункан (1923 год) у Есенина сложилась стойкая алкогольная зависимость.

Писатель Борис Полевой вспоминал: “…Трудно даже установить какое количество литературных сутенеров жило и пьянствовало за счет имени и кармана Есенина, таская несчастного, обезволенного поэта по всем кабакам, волоча в грязи его имя и казня его самыми гнусными моральными пытками”.

У пьяного Есенина была привычка говорить и слушать только о себе. Из воспоминаний Софьи Виноградской, относящихся к 1923—1925 годам: “…Как жил Есенин? Внешне — жил странно, не по-обычному. Шумно, неспокойно. Вокруг него постоянно галдела ватага людей, среди которой он был самым шумным, самым галдящим. Те квартиры, где живал Есенин знали все, кроме покоя. И не то, чтобы он шумом своим заполнял всю квартиру, — он квартиру и ее обитателей приводил в движение, заставлял их вести общую с ним жизнь. Там, где он бывал, все жило им.

…Беседовать с Есениным можно было без конца. Он был

неиссякаем, оживлен, интересен в своих разговорах, словах, политических спорах, полных подчас детской наивности, удивительного, полного непонимания самых элементарных в политике вещей.

…Дома он рядился в цилиндр, монокль и лакированные ботинки, разгуливая в них день-деньской по квартире.

— Сергей Александрович! Зачем вы все это надели?

— А так! Мне хорошо в этом, мне легче в этом, да, да! Мне лучше в этом, — отвечал он…

Нежный, мягкий и галантный! Особенно с женщинами. В личных разговорах и по телефону он с необычайной задушевностью, лаской говорил: “Милая, здравствуйте, целую ваши ручки. Это — я, Есенин. Да, я приехал! Как вы поживаете, мой хороший друг? Я к вам приду и стихи прочитаю”.

Одиночества Сергей Есенин не выносил.

Чутко воспринимал отношение к нему людей, оказанные ему услуги не забывал. Присутствие друзей, их внимание умиротворяли его, смягчали холод его жизни.

Лексикон Есенина при встречах, знакомствах, столкновениях:

— Я — Есенин!

— Кто? Я? Есенин? Кому? Мне — Есенину? Скажите им, что я — Есенин — плюю на них. Угощаю сегодня я, Сергей Есенин; плачу я — Сергей Есенин. Мне — Есенину — с вами не пристало разговаривать. Я — Есенин, а вы кто? Вы — ничто, нни-че-го!

Направляясь из своей комнаты в коммунальной квартире вдоль темного коридора к телефону, он крался, как кошка, и к телефону подходил как-то боком. Чего он боялся, нельзя было узнать, так же, как трудно было угадать его мысли, как невозможно было переубедить его в чем-нибудь, как непонятна была его дружба или привязанность к тому или иному человеку.

Он искал пристанища, искал уюта, тепла. Но ничего этого у него не было он был беспомощен, как двухлетний ребенок; не мог создать нужной для себя обстановки.

Расшумевшись ночью в квартире или растревожив всех ночными звонками, он утром долго мило извинялся перед соседями.

Он любил побывать с семьей, подурачится, повеселится, пошалить.

Оставшись один в комнате, он принимался за “уборку”: вытаскивал откуда-то школьные рисунки и развешивал их по стенам, а на карниз оконной занавески усаживал кошку, которая там нещадно мяукала…

Есенин скандалил.

Обычно скандал начинался, когда у Есенина появлялся

“враг”. Не было у него врага, — тогда он его выдумывал или находил. Нетрезвый, он всегда рассказывал о ком-то, обидевшем его когда-то, и о “расправе”, которую он тому готовит; или выбирал врага из присутствующих.

И все же ни один поэт в России, за исключением Пушкина, не был окружен при жизни такой любовью и вниманием, как Есенин. Его имя, его стихи, его излучавшее свет лицо влекли к нему сердца неудержимо. При Есенине люди забывали свои житейские дела, выходили из обыденного круга интересов и забот. Ощущение праздника, большого светлого праздника, охватывало душу всякого, кто приближался к поэту. В глазах поэта, в его мягкой ласкающей улыбке, в певучем его голосе было обаяние непреодолимое.

ПОЭТ И ЖЕНЩИНЫ

Сергей Есенин был любвеобильным великим русским поэтом. У него было несколько категорий женщин. Его жены: у него было три официальные жены и еще одна состояла с ним в гражданском браке. У него были и женщины, которые его любили, а он их нет; и женщины, которых он любил, но они не отвечали ему взаимностью. Наконец, были и “розочки” — так Есенин называл случайных женщин в своей судьбе.

У поэта было трое детей от разных жен — два сына и дочь.

Он был очень ревнив, ласков, и нежен со своими женщинами. Его третья официальная жена — 25-летняя внучка Льва Толстого, Софья Толстая — в письме своей матери, датированным 13 августа 1925 года и отправленным из дачного местечка Мардакян (под Батуми), писала: “Мама моя, дорогая, милая… Ты скажешь, что я влюбленная дура, но я говорю, положа руку на сердце, что я не встречала в жизни такой мягкости, кротости и доброты. Мне иногда плакать хочется, когда я смотрю на него. Ведь он совсем ребенок, наивный и трогательный. И потому, когда он после грехопадения — пьянства, кладет голову мне на руки и говорит, что без меня погибнет, то я даже сердится не могу, а глажу его больную голову и плачу, плачу…”

Есенин относился к своим женщинам потребительски. Он хотел от них всего — ласки, нежности, заботы, устройства домашнего очага, детей, сам же ничего им не давал, кроме стихов и тяжких забот о себе. В семейных делах у поэта не было простой житейской мудрости, которая дается всем мало-мальски развитым людям. В делах житейских, в любви Есенин пребыл в состоянии “не от мира сего”. Его страстное увлечение той или иной женщиной разбивалось об его поэтическую натуру лирика, выражавшуюся в непосредственности и искренности. Именно поэтому женщины, способные относится к нему как к ребенку, становились его женами.

Ближе всех к понимания Есенина как человека и поэта подошла Галя Бениславская, которая долгие годы его любила, материально поддерживала, обеспечивала жильем. В одном из своих писем к ней (из Ленинграда, 15 августа 1924 года) Есенин писал:

“Галя милая! Я очень люблю Вас и очень дорожу Вами. Дорожу Вами очень , поэтому не поймите отъезд мой, как что-нибудь направленное в сторону друзей от безразличия. Галя милая! Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы

очень много плачевного…”

В одном из своих писем Есенин отказался от любви Гали Бениславской, написав ей, что она похожа на мужчину. Но это не остановило ее любви к нему. После гибели поэта Галя застрелилась на его могиле.

Отношение к женщинам у Есенина менялось на протяжении всей его жизни. Будучи еще юношей, он влюбился в Анну Сардановскую, ученицу епархиального училища из своих мест. Ей было 16 лет. Это была красивая, статная девица. Любовь осталась безответной. Зато ее подруга Мария, или как называл ее Есенин, Маня Бальзамова влюбились в поэта. Эта любовь тоже осталась безответной. В одном из своих писем М. Бальзамовой (весной 1913 года, из Москвы) Есенин писал:

“…Маня, милая Маня, слишком мы мало видели друг друга. Почему ты не открылась мне тогда, когда плакала? Ведь я был такой чистый тогда, что не подозревал в тебе этого чувства любви. Я думал, так ты ко мне относилась из жалости, потому что хорошо поняла меня. И опять, опять: между нами не было даже символа любви, — поцелуя, не говоря уже о далеких, глубоких и близких отношениях, которые нарушают заветы целомудрия, и от чего любовь обеих сердец чувствуется больнее и сильнее”.

Через какое-то время тон писем к М. Бальзамовой, как и отношения к женщинам вообще у Есенина, меняется. Это видно из письма, написанного в октябре 1913 года, после нескольких посещений поэтом публичных домов в Москве. “Просветившийся” Есенин сообщает ей:

“…Ничего в жизни нет святого, один сплошной и сгущенный хаос разврата. Все люди живут ради чувственных наслаждений. Люди нашли идеалом красоту — и нагло стоят перед оголенной женщиной, и щупают ее жирное тело, и разражаются похотью. И эта-то, — игра чувств, чувств постыдных, мерзких и гадких, — названо у них любовью. Вот что ждут люди с трепетным замиранием сердца. “Наслаждения, наслаждения!” — кричит их бесстыдный, зараженный одуряющим запахом тела, в бессмысленном и слепом заблуждении, дух. Люди все — эгоисты. Все и каждый только любит себя и желает, чтобы все перед ним преклонялось и доставляло ему то животное чувство, — наслаждение.

…Я не могу так жить, рассудок мой туманиться, мозг мой горит и мысли путаются, разбиваясь об острые скалы жизни, как чистые, хрустальные волны моря.

Я не могу придумать, что со мной, но если так продолжится еще, — я убью себя, брошусь из своего окна и разобьюсь вдребезги об эту мертвую, пеструю и холодную мостовую”.

В СЕЛЕ КОНСТАНТИНОВКЕ, В СЕМЬЕ КРЕСТЬЯН

Сергей Есенин родился на рязанской земле, в селе Константинове, в семье крестьян.

Его дед по отцу, Никита Есенин, умел читать, писать и поэтому был избран сельским старостой. Судьба отпустила ему недолгий срок — сорок два года. После его смерти вдова осталась с малолетними детьми. Старший ее сын Александр ушел на заработки в город. Двенадцати лет он поступил мальчиком к замоскворецкому купцу, торговавшему бакалеей и мясом, потом много лет был приказчиком у того же купца, но семьей обзавелся в деревне, женившись на крестьянке Татьяне Титовой. У них и родился их первый сын Сергей Есенин 21 сентября (3 октября) 1895 года в селе Константинове.

В трехлетнем возрасте он был отдан на воспитание родителям матери, т. е. Титовым.

Титовы жили в другой части села Константинова — в Матове. Дед Федор был известен всей округе как веселый, умный и своенравный мужик. К тому же он был удачлив в делах. Занимаясь крестьянским трудом, он имел также заработки на отхожих промыслах — гонял плоты, работал на баржах. Эти заработки позволили ему приобрести несколько барж, которые давали еще больше дохода. В деревне дед завел солидное хозяйство, жил без нужды. Наступил, однако, день, когда он разорился: две баржи его сгорели, остальные погибли во время половодья.

Сергей попал к деду, когда старик уже не ходил ни на какие промыслы, но материальный достаток в семье сохранился. Сыновья Титова жили своими семьями, и в доме оставались трое — дед, бабка и внук Сергей. Старики были богомольны, придерживались старых религиозных обрядов.

Они также были знатоками народной песни и религиозного фольклора.

— Я рос, — рассказывал Есенин, — в атмосфере народной поэзии. Бабка, которая меня очень баловала, была очень набожна, собирала нищих и калек, которые распевали духовные стихи. Еще большее значение имел дед, который сам знал множество духовных стихов наизусть и хорошо разбирался в них. Из-за меня у него были постоянные споры с бабкой. Она хотела, чтобы я рос на радость и утешение родителям, а я был озорным мальчишкой. Оба они видели, что я слаб и тщедушен, но бабка хотела меня

всячески уберечь, а он, напротив, закалить… И то, что я был забиякой, его радовало. Вообще крепкий человек был мой дед.

Село Константиново раскинулось на высоком холмистом берегу Оки. Места эти отличались необычайной природной красотой и стойким, умеренным климатом.

— Это было тихое, чистое, утопающее в зелени село, — рассказывает сестра поэта, Александра Есенина. — Основным украшением являлась церковь, стоящая в центре села. Стройные многолетние березы с множеством грачиных гнезд служили убранством этому красивому и своеобразному памятнику русской архитектуры. Вдоль церковной ограды росли акация и бузина… Раздольны, красивы наши заливные луга. Вокруг такая ширь: такой простор, что не окинешь оком! На горе как на ладони видны протянувшиеся по одной линии на многие километры села и деревни. Вдали, как в дымке, синеют леса.

— Огромные луговые пространства, усеянные цветами, разделены серебристыми нитями ручейков и речушек; круглыми чашами на многоцветном ковре выделялись озера.

Пяти лет Сергей научился читать.

— Книга не была у нас исключительным и редким явлением, как в других избах, — вспоминал поэт. — Насколько я себя помню, читал и толстые книги в кожаных переплетах.

Особенно интенсивно приобщался мальчик к литературе с девяти лет, когда поступил в Константиновское земское училище.

В первый класс поступало около сотни ребят (село Константиново насчитывало семьсот дворов), а четвертый заканчивало не более десяти.

Сергей, поступив в училище, перешел от деда Титова обратно в дом Есениных, где жили более скудно, поддерживая семейный бюджет деньгами, присылаемыми отцом из Москвы.

В мае 1909 года Есенин окончил училище с похвальным листом, которого был удостоен за хорошие успехи и отличное поведение.

В качестве поощрения ему дали рекомендацию для поступления в Спас-Клепиковскую церковно-учительскую школу.

Слагать стихи Есенин стал лет с восьми-девяти. На стихотворчество толкнула его та атмосфера народной песенной поэзии, которая окружала его в детские годы. Первые стихи Есенина были подражаниями деревенским частушкам, которых он знал великое множество.

В очередной приезд отца из города было решено: отправить сына в Спас-Клепиковскую церковно-учительскую школу.

Добраться до Спас-Клепиков было не так легко. Лошадьми нужно было ехать до станции Дивово, затем поездом до Рязани, а там пересесть в вагон узкоколейной железной дороги, ведущей к Спас-Клепикам.

В первой поездке Сергея сопровождала мать. Погожим сентябрьским днем прибыли они в это большое купеческое село с каменными амбарами и крытыми железом домами, с обширной базарной площадью в центре, уставленной прилавками, утыканной низкими столбиками для коновязи и усеянной соломой, сеном, овсом. Эта площадь особенно запомнилась Сергею: туда он прибегал из школы в базарные дни, чтобы встретиться с односельчанами, узнать о родных и друзьях.

На краю села располагалось двухэтажное кирпичное здание Спас-Клепиковской церковно-учительской школы, в которой и надлежало учиться Сергею. Школа готовила преподавателей для сельских начальных училищ и церковноприходских школ, в связи с чем особое внимание уделялось изучению закона божьего, церковной истории и церковнославянского языка, а также усвоению ритуала православных обрядов. На все три года обучения была рассчитана и программа общеобразовательных дисциплин.

Обстановка закрытого учебного заведения с поднадзорным существованием и казенным порядком, с засильем духовных лиц и церковных премудростей, с бурсацкими нравами, царившими среди учеников, тяготила живого, пытливого юношу. Его неуступчивость и драчливость, столь ревностно поддерживаемые в свое время дедом Титовым, помогли ему устоять в столкновениях с наглыми и развязными однокашниками, но его душевные запросы были уже значительно шире того, что давала Спас-Клепиковская школа. Однажды он даже бежал из школы, добравшись прямиком, по ухабистым заснеженным проселкам, минуя железную дорогу, домой, в Константиново, но был доставлен матерью обратно.

Писал Сергей с малых лет почти без перерывов, но именно здесь, в Спас-Клепиках, он почувствовал себя поэтом.

— Сознательное творчество отношу к 16-17 годам, — отмечал он, т. е. к последнему году пребывания в церковно-учительской школе.

В мае 1912 года Есенин окончил Спас-Клепиковскую школу. Он был выпущен с аттестатом учителя школы грамоты.

Лето после выпуска Есенин провел в деревне: в лугах, на реке, во дворе отцовского дома, где он уединялся, чтобы читать книги, писать стихи. Родители хотели, чтобы он продолжал

учение в Московском учительском институте. Но Сергей думал по-другому. Почувствовав себя поэтом, он уже не представлял для себя иной жизненной стези, кроме литературного творчества.

Еще летом 1911 года Есенин побывал в Москве. Он ездил в гости к отцу, который служил приказчиком по мясному делу в торговом заведении Д.И. Крылова.

В Москве Сергей пробыл тогда неделю: бродил по улицам, осматривал исторические здания, храмы, церквушки, мосты. Но особых впечатлений из этой поездки не вынес; в письме к своему другу Панфилову сообщил всего лишь о том, что накупил в Москве книг и привез их с собою в деревню.

Теперь, когда Сергей окончил школу, отец сам вызвал его в Москву. Договорившись с хозяином, Александр Никитич решил устроить сына на службу в контору магазина, с тем, чтобы осенью он поступил в учительский институт.

Но занятие это не прельщало молодого стихотворца. И он оставил работу и в 1912 году остался без денег и без крова. Предлагал в журналы стихи, но их не печатали.

— Особенно душило меня безденежье, — признавался он в одном из писем, — но я все-таки твердо вынес удар роковой судьбы, ни к кому не обращался и ни перед кем не заискивал.

Приютил бездомного сочинителя тридцатилетний поэт Сергей Кошкаров, возглавлявший Суриковский литературно-музыкальный кружок.

Съездив после этого ненадолго в Константиново, Есенин вернулся в Москву и снова оказался без работы. Отношения с отцом не налаживались, прибегать к его денежной помощи Сергей не хотел, но тут помогли суриковцы.

Они устроили его на работу в типографию Товарищества И.Д. Сытина.

Есенина приняли в типографию экспедитором: он готовил и отправлял почту, упаковывал книги. Спустя некоторое время его перевели в корректорскую помощником корректора — подчитчиком.

Круг знакомых Есенина к тому времени заметно расширился. Этому способствовало, в частности, его поступление в Народный университет имени Шанявского.

На Миусской площади в Москве восьмой год существовал первый в России Народный университет, основанный группой видных ученых на средства, завещанные либеральным общественным деятелем, отставным генералом А.Д. Шанявским.

Осенью 1913 года Есенин поступил вольнослушателем на историко-философский факультет академического отделения

этого университета

Среди слушателей университета были поэты из пролетарских и крестьянских слоев: Иван Филипченко, Дмитрий Семеновский, Василий Наседкин. Есенин сблизился с ними, а с Наседкиным подружился на всю жизнь.

— Обаяние Есенина, — рассказывает Д. Семеновский, — привлекало к нему самых различных людей. Где бы ни появлялся этот симпатичный, одаренный юноша, всюду он вызывал у окружающих внимание и интерес к себе. За его отрочески, нежной наружностью чувствовался пылкий, волевой характер, угадывалось большое душевное богатство.

По окончании учебного года в университете им. Шанявского, в июне 1914 года Есенин уехал на три недели в Крым — для этого ему пришлось уволиться из типографии Сытина. Остальные летние месяцы он провел в деревне. Вернулся уже после того, как началась первая мировая война.

Вернувшись из деревни в сентябре 1914 года, Есенин поступил работать корректором в типографию Чернышева-Кобелькова. Уходил он на службу к восьми часам утра, возвращался после семи вечера и почти перестал писать стихи.

В декабре Сергей оставил эту службу и снова принялся за творческую работу. Он продолжал посещать университет им. Шанявского и Суриковский кружок, с января 1915 года бывал также на собраниях литературно-художественного кружка при журнале “Млечный путь”. В этом журнале сотрудничали писатели-демократы Алексей Новиков-Прибой, Дмитрий Семеновский, Федор Шкулев, Надежда Павлович. Несколько стихотворений поместил на его страницах и Есенин. Кроме того, он принял участие в организации нового демократического издания “Друг народа””

Есенин был секретарем журнала и готовил к изданию первый его номер, который появился 1 января 1915 года; вскоре после этого его избрали в состав редколлегии.

Еще в начале 1913 года, вероятно, по совету матери, а может быть, и по приглашению самого дяди, Есенин собирался к нему в гости, но не поехал. Путь в Ревель по железной дороге пролегал через Петроград. И Есенин, собрав у друзей деньги на билет, решил отправиться к дяде, а по дороге остановиться на несколько дней в Петрограде.

Первые же дни пребывания в Петрограде решили всю его дальнейшую судьбу.

В Петрограде Есенин был принят Блоком. Сперва, отвечая на вопросы, он рассказал о себе, потом стал читать стихи, показал

рукописи.

Блок явно заинтересовался молодым стихотворцем — его личностью, его прошлым, его несомненным талантом. В дневнике он записал:

— 9 марта… Днем у меня рязанский парень со стихами, — а на записке Есенина пометил:

— Стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык.

Блок направил Есенина к известному поэту Сергею Городецкому, увлекавшемуся лирикой русской деревни и к крестьянскому писателю Михаилу Мурашову, имевшему налаженные связи с редакциями журналов. Блок отобрал из услышанных и прочитанных в рукописи шесть стихотворений Есенина и рекомендовал их обоим адресатам.

У Городецкого Есенин был 11 марта.

— Стихи он принес завязанными в деревенский платок, — пишет в своих воспоминаниях Городецкий. — С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник песни. Мы целовались, и Сергунька опять читал стихи. Но не меньше, чем прочесть стихи, он торопился спеть рязанские прибаски, канавушки и страдания… Застенчивая, счастливая улыбка не сходила с его лица.

Городецкий, в свою очередь, снабдил Есенина письмами, из которых одно было к издателю “Ежемесячного журнала” В.С. Миролюбову: “Дорогой Виктор Сергеевич! Приласкайте молодой талант — Сергея Александровича Есенина. В кармане у него рубль, а в душе богатство”.

Несколько дней Есенин жил у Мурашева, затем — у Городецкого, посещал в Питере литературные вечера, днем ходил по редакциям. Местные газеты и журналы стали печатать его стихи. О Есенине заговорили. Блок, не имея возможности встретиться с ним второй раз, написал ему весьма поощрительное письмо.

20 мая 1915 года он предстал перед врачебной комиссией воинского присутствия в Рязани. Сперва было хотели признать его годным, но врач-окулист обнаружил у него дефекты зрения, и Есенину дали отсрочку.

Все лето поэт провел в деревне, интенсивно работал — сочинял стихи и прозу.

Впервые собрал и отправил в Питер все написанные им стихи. Название этого сборника — “Радуница”.

В Петрограде Есенин жил впроголодь, бедствовал, не имел постоянного пристанища. 21 декабря 1915 года он обратился в Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым.

— В то время я голодал, как может быть никогда, мне приходилось питаться на 3-2 копейки.

В первых числах февраля 1916 года вышла из печати “Радуница”. Для Есенина, с таким трудом пробивавшегося в литературу, это был великий праздник. Получив авторские экземпляры, он принялся перелистывать и перечитывать свою книгу. Из пятидесяти принесенных от издателя экземпляров он половину тут же разослал друзьям и знакомым, остальные раздавал в последующие дни.

Двадцать пятого марта 1916 года Есенин снова был вызван в воинское присутствие — на сей раз в Петрограде. К тому времени нормы медицинских требований к призываемым снизились — людские резервы в стране таяли: их поглощала война. Есенина признали годным к военной службе и зачислили в запасной батальон. Из состава этого батальона формировались маршевые команды, отправляемые на фронт. Но Есенин на фронт не попал — он был отозван из батальона по ходатайству полковника Д.Н. Ломана, добившегося через Мобилизационный отдел Генерального штаба прикомандирования поэта к Царскосельскому военно-санитарному поезду.

Поскольку Есенина предназначали для службы в качестве санитара, его направили в Петроградский резерв военных санитаров, а оттуда, одиннадцать дней спустя, в Царское Село. К месту службы он прибыл 20 апреля и там был заново обмундирован: ему выдали фуражку с красным крестиком и овальной кокардой, полевые погоны с ефрейторской нашивкой; на погонах был вышит вензель, обозначавший Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 имени императрицы Александры Федоровны.

Пока что время, свободное от службы, Есенин использовал для творческой работы. Даже в казарме он часто уединялся, садился возле окна, сочинял стихи. За время военной службы он написал около двадцати стихотворений, подготовил к печати второй сборник стихов, опубликовал ряд произведений в сборниках и журналах.

Творческую работу Есенину облегчил длительный отпуск по болезни: в июне 1916 года он перенес операцию аппендицита, после чего ему удалось съездить в Константиново.

— Худой, остриженный наголо, приехал он на побывку, — рассказывает сестра поэта Екатерина.

— Какая тишина здесь, — говорил Сергей, стоя у окна на улицу и любуясь тихой зарей.

Есенину пришлось однажды читать стихи в присутствии царских дочерей, а в другой раз — в присутствии императрицы.

Есенина 17 марта отослали в распоряжение Воинской комиссии при Государственной думе для зачисления в школу прапорщиков. Однако служить Временному правительству у поэта не было ни малейшего желания.

— В революцию, — писал он в автобиографии, — покинул самовольно армию Керенского.

Революция открыла Есенину путь к массовому читателю. Никогда ранее он не имел такого широкого контакта с читательской аудиторией, какой установился в послеоктябрьские дни.

Дорогу к широкому читателю прокладывала Есенину и массовая печать, в которой все чаще появлялись его стихи.

На протяжении 1917 года Есенин встречался со многими писателями, художниками, артистами. Среди них — А. Толстой, А. Блок, И. Эренбург, С. Коненков, О. Форш, А. Чапыгин, А. Белый. И все, с кем соприкасается в это время поэт, отмечают в нем большую перемену. Еще весной — в конце марта — он, по описанию Н.В. Крандиевской, жены А.Н. Толстого, был “похож на подростка, скромно покашливал. В голубой косоворотке, миловидный; льняные волосы, уложенные бабочкой на лбу”

А вот каким видит его П. Орешин в октябрьские дни:

— От всей его стройной фигуры веяло уверенностью и физической силой, а по его лицу нежно светилась его розовая молодость.

Чуть позднее — в ноябре — его встречает в своей мастерской скульптор С. Коненков:

— Голубые глаза, волосы цвета спелой ржи, стройный, легкая походка и живой вид.

В Москве Есенин сблизился с группой пролетарских поэтов и поселился в здании Московского Пролеткульта, бывшем особняке фабриканта Морозова.

В 1918 году он подготовил к печати второй, третий и четвертый сборники своих поэтических произведений “Голубень”, “Преображение” и “Сельский часослов”.

Не хватало бумаги, бездействовали многие типографии, издавались, и то нерегулярно, считанные журналы. Стихи печатались тоненькими брошюрами на серой, иногда оберточной бумаге, очень малыми тиражами. Многие произведения приходили к читателям изустным путем — на литературных вечерах в авторском исполнении.

Центрами литературной жизни становились маленькие клубы, столовые, кафе, небольшие подвальчики на людных улицах, где можно было выпить чаю (натурального или

морковного), кофе из суррогата с сахаром или сахарином, с овсяными лепешками или картофельными пирожками, получить тарелочку кислой капусты с луком, но зато увидеть модную знаменитость, услышать нигде еще не печатавшиеся стихи.

Процветали кооперативные формы просветительской, издательской и книготорговой деятельности. Есенин с головой ушел в эту увлекательную, бурную, суматошную жизнь.

Есенин ходил тогда в серой меховой куртке, обвязанный длинным цветным шарфом, спускавшимся почти до пола. В одежде не было ничего вызывающего — она была и модной, и простой. Естественность, доброта сквозили в каждом жесте поэта. В делах он проявлял увлеченность, горячность, любовь к коллективной работе.

Первой его организационной инициативой было создание писательской коммуны. Спасая себя и друзей от жизни в промерзших домах поэт выхлопотал в Московском Совете ордер на пятикомнатную квартиру в доме, где чудом сохранилось и действовало паровое отопление. В ней кроме Есенина в начале 1919 года поселилось еще несколько писателей и журналистов, их посещало множество друзей, которые приходили согреться, поговорить и поспорить.

Одним из коллективных писательских предприятий, в котором участвовал Есенин, была Московская трудовая артель художников слова.

У артели были обширные издательские планы, осуществить которые из-за трудностей с типографиями и бумагой удалось лишь частично. Под маркой издательства вышло пять книг Есенина.

С разрешения Московского Совета, поощрявшего кооперативные начинания, Есенин и его друзья открыли на Большой Никитской, рядом с Консерваторией, книжную лавку. Работали в ней опытные книжники, но почти ежедневно здесь можно было видеть и Есенина.

В Кафе поэтов родился имажинизм — литературное течение, сыгравшее в жизни Есенина сложную и, в общем, неблагоприятную роль. Имажинисты отпочковались от поэтического клуба на Тверской и открыли свое кафе “Стойло Пегаса”.

Вот описание этого кафе:

“Двоящийся в зеркалах свет, нагроможденные из-за тесноты помещения чуть ли не друг на друге столики. Румынский оркестр. Эстрада. По стенам роспись художника Якулова и стихотворные лозунги имажинистов. С одной из стен бросались в глаза золотые завитки волос и неестественно искаженное левыми уклонами

живописца лицо Есенина в надписях: “Плюйся, ветер, охапками листьев”.

Здесь происходили диспуты и поэтические вечера, но репутация “Стойла” складывалась главным образом из литературных скандалов.

Обычный шум в кафе, пьяные выкрики и замечания со столиков.

Атмосфера богемы, возможность присутствовать при пикантной стычке или скандальном происшествии привлекали сюда совершенно случайную публику не только из мещанско-обывательской, но также из нэпманско-буржуазной среды.

Есенина вовлек в эту среду Мариенгоф, с которым он познакомился еще в 1918 году.

Первые их беседы касались роли образа в искусстве. Мариенгоф проповедовал культ “небывалого” образа как единственной сути поэзии. В замысловатости, непохожести, оригинальности образа, формируемого независимо от содержания, от авторской мысли, видел он значение и сущность искусства. Есенина, по творческой его природе, всегда тянуло к яркой словесной живописи, к затейливым построениям речи. Заметив поначалу лишь эту сторону дела, он счел имажинистов соратниками по искусству.

Позднее Есенин отмечал: “Имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом”.

Он втянулся в повседневную жизнь этой группы, пропадал в “Стойле Пегаса”, участвовал в попойках, хотя раньше не прикасался к спиртному и не любил пьяных компаний.

Герой его стихов все чаще выступал в образе ночного гуляки, сорванца, повесы, скандалиста:

Я московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку.

Или:

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне бог,

Так возник цикл с характерным названием “Москва кабацкая”.

ПЕРВЫЙ БРАК — ГРАЖДАНСКИЙ

Три сестры — Анна, Серафима и Надежда Изрядновы, жившие тогда в Москве, были типичными “прогрессивными” девушками эпохи. Сами зарабатывали себе на жизнь, бегали на лекции и митинги, увлекались модными поэтами Бальмонтом, Северяниным, Ахматовой.

Сергей Есенин при первой же встрече взволновал сердце Анны своим недеревенским видом — новый костюм, зеленый галстук и на голове “золотые кудри”.

Молодая Анна влюбилась в “сказочного херувима”, а он, страдавший от одиночества, ушедший от отца, без друзей в Москве, истосковался по заботе и ласке.

Молодые сняли комнатку возле Серпуховской заставы и начали семейную жизнь. Однако скоро выяснилось, что Есенин не из тех мужей, которые ищут счастья у семейного очага, в жене, детях, налаженном быте. Анна ждала ребенка, а он тратил деньги на книги и журналы.

Но Есенин словно и не замечал этого. Его внутреннее состояние резко и капризно меняется. Он мечется, не зная, как ему жить и что делать дальше. Жена ждет ребенка, а он летом 1914 года бросает работу в типографии: “Москва неприветливая — поедем в Крым”. В Крым едет, но без жены — денег не хватает на двоих. Из Крыма кое-как вернулся через месяц.

Чтобы как-то содержать семью, он снова в отчаянии идет на корректорскую работу в типографию Чернышева-Кобелькова. Но его энергии хватает всего лишь на два месяца. В декабре он бросает работу и отдается весь стихам.

Молодая жена, после рождения ребенка, почувствовала, что его чистота и его нетронутая хорошая душа предназначены не для семейной жизни, а для чего-то другого.

В марте Есенин поехал в Петроград искать счастья. Он в это время был занят только мыслями о стихах, о будущей поэтической судьбе, и, конечно же, его первый брак был обречен на неудачу. Несмотря на то, что Изряднова была верной и преданной ему женщиной, одной из тех, “на которых мир стоит”.

Изряднова Анна Романовна (1891-1946) была издательским работником. В годы встреч с Есениным — корректор типографии “Товарищества И.Д. Сытина”. В 1914 году Сергей Есенин вступил в гражданский брак с А.Р. Изрядновой.

Ее вспоминания:

“Познакомилась я с С.А. Есениным в 1913 году, когда он поступил на службу в типографию товарищества И.Д. Сытина в

качестве подчитчика “помощника корректора). Он только что приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня похож не был. На нем был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив, окружающие по первому впечатлению окрестили его вербочным херувимом. Был очень заносчив, самолюбив, его невзлюбили за это. Настроение было у него угнетенное: он поэт, а никто не хочет этого понять, редакции не принимают в печать. Отец журит, что занимается не делом, надо работать, а он стишки пишет. Был у него друг, Гриша Панфилов (умер в 1914 году), писал ему хорошие письма, ободрял его, просил не бросать писать.

Ко мне он очень привязался, читал стихи. Требователен был ужасно, не велел даже с женщинами разговаривать — они нехорошие. Посещали мы с ним Университет Шанявского. Все свободное время читал, жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думая, как жить.

Первые стихи его напечатаны в журнале для юношества “Мирок” за 1913-1914 годы. В журнале “Мирок” было опубликовано первое стихотворение Есенина “Береза”.

В типографии Сытина работал до середины мая 1914 года. “Москва неприветливая, поедем в Крым”. В июне он едет в Ялту, недели через две должна была ехать и я, но так и не смогла поехать. Ему не на что было там жить. Шлет мне одно другого грознее письма, что делать, я не знала. Пошла к его отцу просить, чтобы выручил его, отец не замедлил послать ему денег, и Есенин через несколько дней в Москве. Опять безденежье, без работы, живет у товарищей.

В сентябре поступает в типографию Чернышева-Кобелькова, уже корректором. Живем вместе около Серпуховской заставы, он стал спокойнее. Работа отнимает очень много времени: с восьми утра до семи часов вечера, некогда стихи писать. В декабре он бросает работу и отдается весь стихам, пишет целыми днями. В январе печатаются его стихи в газете “Новь”, журналах “Парус”, “Заря” и других.

В конце декабря у меня родился сын. Есенину пришлось много канителиться со мной (жили мы только вдвоем). Нужно было меня отправить в больницу, заботиться о квартире. Когда я вернулась домой, у него был образцовый порядок: везде вымыто, печи истоплены, и даже обед готов и куплено пирожное, ждал. На ребенка смотрел с любопытством, все твердил:

— Вот я и отец!

Потом скоро привык, полюбил его, качал, убаюкивая, пел над

ним песни. Заставлял меня, укачивая, петь:

— Ты пой ему больше песен.

В марте поехал в Петроград искать счастья. В мае этого же года поехал в Москву, уже другой. Был все такой же любящий, внимательный, но не тот, что уехал. Немного побыл в Москве, уехал в деревню, писал хорошие письма. Осенью опять заехал:

— Еду в Петроград.

Звал с собой… Тут же говорил:

— Я скоро вернусь, не буду жить там долго.

В январе 1916 года приехал с Клюевым. Сшили они себе боярские костюмы — бархатные длинные кафтаны; у Сергея была шелковая голубая рубаха и желтые сапоги на высоком каблуке, и он говорил:

— Под пятой, пятой хоть яйцо кати.

Читали они стихи в лазарете имени Елизаветы Федоровны, Марфо-Марьинской обители и в “Эстетике”.

В “Эстетике” на них смотрели как на диковинку…

В сентябре 1925 года пришел с большим белым свертком в 8 часов утра, не здороваясь, обращается с вопросом:

— У тебя есть печь?

— Печь, что ли, что хочешь?

— Нет, мне надо сжечь.

Стала уговаривать его, чтобы не жег, жалеть будет после, потому что и раньше бывали такие случаи: придет, порвет свои карточки, рукописи, а потом ругает меня “зачем давала”. В этот раз никакие уговоры не действовали, волнуется, говорит:

— Неужели даже ты не сделаешь для меня то, что я хочу?

Повела его в кухню, затопила плиту. И вот он в своем сером костюме, в шляпе стоит около плиты с кочергой в руке и тщательно смотрит, как бы чего не осталось не сожженным. Когда все сжег, успокоился, стал чай пить и мирно разговаривать. На мой вопрос, почему рано пришел, говорит, что встал давно, уже много работал.

Видела его незадолго до смерти. Сказал, что пришел проститься. На мой вопрос:

— Что? Почему? — говорит:

— Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверное, умру.

Просил не баловать, беречь сына”.

Не уберегла. Юрий Есенин был расстрелян 13 августа 1937 года в Москве по обвинению в подготовке к покушению на Сталина.

ПЕРВАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ЖЕНА

Весной 1917 года Есенин, в поисках той социальной силы, которая была бы наиболее близка его мечте о крестьянском рае на земле, сближается с эсерами. “Работал с эсерами не как партийный, а как поэт”, — вспоминал Есенин впоследствии.

И в это время Есенин наполнен новой энергией, энергией надежд, творчества, и новым чувством к молодой секретарше из эсеровской газеты “Дело народа” Зинаиде Райх.

Подруга Зинаиды Райх по 1917-1918 годам Мина Львовна Свирская, видная деятельница эсеровской партии, оставила весьма детальные и, достоверные воспоминания о первых встречах Есенина и Райх.

Сама Свирская за сопротивление большевизму, за попытки возродить деятельность Учредительного собрания, разогнанного Лениным, не раз подвергалась арестам в начале 20-х годов, а потом в общей сложности провела в тюрьмах, концлагерях и ссылках с небольшим перерывом около 25 лет. После 1956 года эмигрировала в Израиль, где, завершив свои воспоминания, умерла в 1978 году.

Но в счастливом 1917 году семнадцатилетняя Мина Свирская еще не испила из этой чаши и дружила с Зинаидой Райх и Сергеем Есениным.

Мина Львовна встретилась с Есениным у издателей “Северных записок”, где поэт по просьбе народовольца Германа Лопатина пел для него частушки.

В это время, летом 1917-го, Есенин вместе с Ганиным частенько заходили в редакцию “Дела народа”, где главным публицистом был Иванов-Разумник, который и познакомил их с Зинаидой Райх.

Молодая секретарша газеты не раз позволяла Есенину и Ганину ночевать в служебных апартаментах на обитых шелком великокняжеских стульях.

Есенин зачастил в общество распространения эсеровской литературы, где Райх стала председательницей. “Он приходил всегда во второй половине дня. В легком пальтишке, в фетровой, несколько помятой черной шляпе, молча протягивал нам руку, доставал из шкафа толстый том Щапова “История раскольнического движения” и усаживался читать… Пальто он не снимал, воротник поднимал и глубже нахлобучивал шляпу” (Мина Свирская).

Позже появлялся Алексей Ганин, уже влюбленный в Зинаиду Райх, потом приходила она, и четверо молодых людей

отправлялись бродить по Петрограду. Мина с Сергеем шли впереди, а за ними Зинаида с Алексеем. Поэты читали своим спутницам новые стихи, потом читали их друг другу, останавливались, начинали спорить, забывали о девушках, которые, потеряв терпение, уходили вперед.

Однажды в Павловске Алексей Ганин прочитал стихотворение “Русалка”, посвященное Зинаиде. Есенин не остался в долгу и тут же сочинил экспромт, посвященный Мине, который не сохранился. Он сравнивал короткие, остриженные и всегда растрепанные кудри девушки с веточками берез.

Летом 1917 года Есенин вбежал в помещение Общества и предложил Свирской:

— Мина, едемте с нами на Соловки. Мы с Алексеем едем.

Придя к Зинаиде, я ей тут же рассказала, что Сергей с Алешей собрались ехать на Соловки и Сергей пришел звать меня. Зинаида вскочила, захлопала в ладоши:

— Ох, как интересно! Я поеду. Сейчас пойду отпрашиваться!

Отпросилась.

А Мина, отказалась.

Райх нашла деньги на поездку. И троица укатила на Север. В поездке произошло неожиданное объяснение в любви Есенина и Райх. На обратном пути с Соловков в поезде Есенин сделал предложение Райх. Венчались они в Кирико-Улитовской церкви возле Вологды. Шафером со стороны жениха был Ганин.

Есенин очень скоро начал жалеть, что поторопился снова связать себя семейными узами. В конце сентября молодые вернулись в Петроград. Приближался день рождения Сергея.

Зинаида собрала гостей — несколько человек. Скудная закуска, не было электричества. На столе — маленькая керосиновая лампа, свечи и несколько бутылок. Впрочем, по тем временам стол выглядел празднично. Были Ганин, Иванов-Разумник, Петр Орешин. Есенин настоял, чтобы Мина с Алешей выпили на брудершафт.

Вдруг Есенин встал, взял со стола одну свечу и потянул девушку за руку:

— Идем со мной, мы сейчас вернемся.

Есенин сел за стол, показал ей на второй стул. Она села. Он стал писать.

— Сережа, я пойду.

— Нет, нет, посиди: я сейчас, сейчас.

Дописав, он прочел Мине следующее стихотворение. В нем было пять четверостиший, но пятое по истечении времени она так и не вспомнила.

Мине

От берегов, где просинь
Душистей, чем вода,
Я двадцать третью осень
Пришел встречать сюда.

Я вижу сонмы ликов
И смех их за вином,
Но журавлиных криков
Не слышу за окном.

О, радостная Мина,
Я так же, как и ты,
Влюблен в мои долины
Как в детские мечты.

Но тяжелее чарку
Я подношу к губам,
Как нищий злато в сумку,
Со слезою пополам.

— Сережа, почему ты написал, что влюблен так же, как я? Ведь ты меня научил любить, — произнесла Мина.

Он ничего не ответил. Держа свечу в одной руке и листок со стихотворением в другой, вышел из комнаты, прочел стихотворение присутствующим и отдал его Свирской.

Вечером, когда все уже собирались уходить, Ганин сказал, что пойдет провожать Мину. Он уже снял пальто с вешалки. Сергей подошел к нему, взял у него из рук пальто и быстро надел его на себя. Погода была прескверная. Моросил мелкий дождь. По мере того, как они приближались к Неве, туман усиливался. На мосту Мина остановилась и сказала:

— Давай смотреть на воду, интересно, что мы увидим в день твоего рождения?

— Ничего не получится, — ответил он и потянул ее за руку.

И молча они дошли до ее дома, и Есенин остался у нее ночевать.

Через день или два пришел в Общество Ганин:

— Если бы ты знала, как Сергуньке попало! — сказал он

Мине.

— Алеша, за что?

— Нет, не за то, что он пошел тебя провожать. Зина упрекала его, что он не подарил ей ни одного стихотворения. Он слушал ее, надувшись, ничего ей не ответил, потом быстро оделся и ушел.

Алексей Ганин был расстрелян 30 марта 1925 года, не успев нигде ни написать, ни рассказать о поездке Есенина на Север.

В Москву Есенин с женой переехали в марте 1918 г . Поселились в небольшой гостинице на Тверской; там было неуютно и сыро, жили впроголодь, получая скудный продовольственный паек, но усердно трудились. З. Райх была сотрудницей Наркомпрода, Есенин занимался издательской и литературной работой.

В конце мая 1918 г . у Есениных родилась дочь Татьяна, почти два года спустя — сын Константин. Но семейная жизнь не ладилась. С женой поэт разошелся еще до рождения второго ребенка. В последствии З. Райх вышла замуж за театрального режиссера Всеволода Мейерхольда.

Зинаида Райх, пережив смерть Есенина и Ганина, также всю жизнь хранила молчание, которое во второй половине 30-х годов усугублялось смертельной опасностью — волной репрессий, нависшей над Всеволодом Мейерхольдом и над ней, его женой.

Но она оставила план воспоминаний о жизни с Есениным, из нескольких пунктов которого их дочь Татьяна попыталась воссоздать мемуары матери.

Вот несколько отрывков из этих мемуаров дочери и матери, которые дают представление о Зинаиде Райх и ее жизни с Есениным:

Еще до знакомства с Есениным у Зинаиды появился жених и она дала согласие, но сроки свадьбы не оговаривались.

Появление Ганина, а потом Есенина, заставило Райх забыть о женихе.

Алексей Ганин, ревновавший Райх к Есенину, понимал, что его возлюбленная все больше отдает предпочтение его знаменитому сопернику. В его стихах, посвященных Райх, недаром есть такие строки:

Она далеко, — не услышит,
Услышит, — забудет скорей;
Ей сказками на сердце дышит
Разбойник с кудрявых полей.

По словам Зинаиды Райх, конфликт между супругами

начался уже в первые месяцы их совместной жизни, в Петрограде.

Она пришла с работы. В комнате, где он обычно работал за обеденным столом, был полный разгром: на полу валялись раскрытые чемоданы, вещи смяты, раскиданы, повсюду листы исписанной бумаги. Топилась печь, он сидел перед нею на корточках и не сразу обернулся — продолжал засовывать в топку скомканные листы. Она успела разглядеть, что он сжигает рукопись своей пьесы.

Но вот он поднялся ей на встречу. Чужое лицо — такого она еще не видела. На нее посыпались ужасные, оскорбительные слова — она не знала, что он способен их произносить.

Она упала на пол — не в обморок, просто упала и разрыдалась. Он не подошел.

Когда поднялась, он, держа в руках какую-то коробочку, крикнул:

— Подарки от любовников принимаешь?! — Швырнул коробочку на стол.

Она доплелась до стола, опустилась на стул и впала в оцепенение — не могла ни говорить, ни двигаться.

Они помирились в тот же вечер. Но они перешагнули какую-то грань, и восстановить прежнюю идиллию было уже невозможно. В их бытность в Петрограде крупных ссор больше не было, но он, осерчав на что-то, уже мог ее оскорбить.

Зинаида Райх принадлежала к такому типу женщин, которые вызывают у мужей чувство ревности.

Музыкант Юрий Елагин, работавший в 30-е годы в Вахтанговском театре и хорошо знавший театральную жизнь Москвы, после войны с поколением второй эмиграции попал в Америку, где в 1955 году издал книгу “Темный гений” о Всеволоде Мейерхольде.

В книге есть страницы, характеризующие Зинаиду Райх:

“Райх была чрезвычайно интересной и обаятельной женщиной, обладавшей в очень большой степени тем необъяснимым драгоценным качеством, которое по-русски называется “поди сюда”, а на Западе известно как sex appeal. Всегда была она окружена большим кругом поклонников, многие из которых демонстрировали ей свои пылкие чувства в весьма откровенной форме.

Райх любила веселую и блестящую жизнь: любила вечеринки с танцами и рестораны с цыганами, ночные балы в московских театрах и банкеты в наркоматах. Любила туалеты из Парижа, Вены и Варшавы, котиковые и каракулевые шубы, французские духи (стоившие тогда в Москве по 200 рублей за маленький флакон), пудру Коти и шелковые чулки… и любила поклонников.

Нет никаких оснований утверждать, что она была верной женой Мейерхольду — скорее есть данные думать совершенно противоположное”

Зинаида Райх была из особой породы женщин, созданных для роскоши и адюльтера, женщин типа Ольги Книппер, Лили Брик, Ларисы Рейснер, то ее жизнь с Сергеем Есениным, требовавшим, несмотря на свою в достаточной степени богемную жизнь, от жены верности, послушания, семейного очага, то есть всего того, что соответствовало его крестьянско-патриархальным взглядам на место жены в семье, была обречена на неудачу.

Всеволод Мейерхольд, который дал Райх все, что не мог дать ей Есенин, — материальное благосостояние, положение в обществе, возможность царить в собственном салоне посреди нэпмановской Москвы, испытал куда большие муки, живя с этой женщиной, нежели его предшественник. Его страстная любовь приняла болезненный оттенок под влиянием характера и поведения Райх. Мало-помалу его ревность развилась и приняла фантастические размеры. Он ревновал Райх ко всем, к кому только можно было ревновать. Часто он устраивал бурные сцены, не стесняясь присутствием друзей и знакомых.

Дочь Есенина Татьяна вспоминала:

“Отец, как известно, не скрывал, что его семью помог разрушить Мариенгоф. Мариенгоф с помощью какой-то выдумки спровоцировал ужасающую сцену ревности. До родов оставался месяц с днями, мать прожила их у кого-то из знакомых. Вернуться к своим родителям она не могла, военные действия в районе Орла продолжались. Костя родился 3 февраля 1920 года.

В метрической записи о рождении Константина, заполненной со слов Зинаиды, в графе “Родители” стоит следующее: Сергей Александрович Есенин, 24. Зинаида Николаевна Есенина, 25 — фамилия, имя, отчество и возраст родителей.

Родители разъехались где-то на рубеже 1919-1920 годов, после чего уже никогда вместе не жили. Ревность Есенина к Зинаиде Райх имела основания.

Становится понятным его поведение на ростовском перроне, где во время стоянки поезда встретились Мариенгоф и Зинаида Райх. Райх ехала с маленьким Константином в Кисловодск.

Заметив бывшую супругу, разговаривавшую с Мариенгофом, Есенин вскочил на рельсы и пошел в обратную сторону, поддерживая равновесие руками. Райх попросила Мариенгофа:

— Пусть отец глянет на сына, он ведь его не видел, если не хочет встречаться со мной, я могу выйти из купе.

Есенин заупрямился, но после второго звонка все же пошел в купе поезда, где ехала Райх.

Мать распеленала младенца.

Есенин отшатнулся.

— Черноголовый!.. Есенины черными не бывают…

Есенин не так уж был и не прав, когда писал в “Письме к женщине”, обращаясь к своей бывшей жене:

Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был, как лошадь, загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.

Расставание Есенина с женщинами всегда имело какой-то литературный подтекст, который смешивался с житейскими драматическими извивами:

Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.

Райх актрисой была никакой. Среди всей молодежи, пришедшей в те годы учиться к Мейерхольду, была едва ли не самой бездарной. И в течение всех последующих лет понадобились нечеловеческие усилия Мейерхольда, чтобы сделать из нее хотя бы мало-мальски приличную актрису.

Но эта бесталанная актриса была все-таки очень красивой и обаятельной женщиной. У Райх было красивое лицо, и была она очаровательной и интересной женщиной.

Анатолий Мариенгоф, друг Есенина не испытавший действия чар Зинаиды Райх, пишет о ней и как об актрисе, и как о женщине объективно:

“Райх актрисой не была — ни плохой, ни хорошей. Ее прошлое — советские канцелярии…

Щедрая природа одарила ее чувственными губами на лице, круглом, как тарелка. Одарила задом величиной с громадный ресторанный поднос при подаче на компанию. Кривоватые ноги ее ходили по земле, а потом и по сцене, как по палубе корабля, плывущего в качку”.

Татьяна Есенина о матери:

— Она была женственна классически безупречной красотой.

Созвучны этим нежным словам дочери и мемуары В. Чернявского о первых месяцах жизни Есенина с молодой женой в Питере, в доме № 33 по Литейному:

“В этом доме провел Есенин первые месяцы своего брака с Зин. Ник. Райх, тогда вовсе не актрисой, а просто молодой редакционной работницей, красивой, спокойной, мягким движением кутавшейся в теплый платок”.

Зинаида Райх прожила бурную жизнь с драмами и триумфом, которая закончилась в одну из зловещих ночей 1939 года, когда она после ареста Мейерхольда была найдена в своей квартире зверски зарезанной чьей-то бандитской финкой, истекшая кровью.

Ходили слухи, что незадолго перед этим она в нервозном состоянии на людях обещала рассказать какую-то правду о смерти Есенина.

Летом 1917 года, когда Есенин, опьяненный свободой, мистическими прозрениями, мечтой о земном рае, с любовью создавал цикл своих религиозно-революционных поэм и завоевывал сердце Зинаиды, он был, наверное, на вершине своего здоровья, физического расцвета, мужской красоты и обаяния. Он шел по революционной России “красивый, двадцатидвухлетний”, от его стройной фигуры веяло ладом, изяществом, “ухватистой силой”, “свежей розовостью щек”. Люди, читавшие его строки “свет от розовой иконы на златых моих ресницах”, вспоминают, что действительно его взоры излучали подобный свет. Он любил встряхивать головой, и тогда его волосы свободно развевались, образуя над ней корону, из-под которой светились два синих глаза.

Юношеская легкость походки, живое, постоянно меняющее выражение лицо, волшебная способность говорить и вести беседу без слов — легким кивком головы, жестами рук, движением бровей, прищуром глаз — таким запомнился Есенин всем, кто встречался с ним летом 1917 года.

Он почти совсем не пил вина, как вспоминает Владимир Чернявский, но запоем создавал циклы религиозно-космических поэм о революции, которые по недоразумению были окрещены “богохульными”, и сразу же, с “горячего” еще листа бумаги, читал только что написанное друзьям, прямо за обеденным столом, подвинув чашку или тарелку; тряс кудлатой головой, бил кулаком по скатерти и читал.

Ни о каких серьезных заработках осенью 1918 года и думать было нечего. Есенин мечется. Нищета, беготня по редакциям, опять надо приспосабливаться, но уже к новым “заезжим людям”. От отчаянья он подряжается писать монографию о Сергее Коненкове в компании с Клычковым. Пишут слезное ходатайство зав. отделом изобразительных искусств комиссариата народного

просвещения”, говорят что якобы уже работают над монографией, просят аванс в 1 тысячу рублей.

В ноябре 1918 года Московская трудовая артель художников слова издает вторым изданием “Радуницу”. Книга расходилась плохо, выручки почти не было. Журналист Лев Повицкий, встретив на улице исхудавшего Есенина, увез его вместе с Клычковым в годовщину октябрьского переворота в Тулу к своему брату — владельцу еще не национализированного пивоваренного завода. Там хоть отъелись немного.

В последний месяц 1917 года Есенин судорожно пытается “встроиться” в какие-нибудь структуры — издательские, профсоюзные, культурные. Иначе загнешься с голоду в одиночку. Он заигрывает с пролетарскими писателями, предвидя, что власть поддержит в первую очередь их, пишет статью о пролетарских поэтах, срочно вступает в Московский профессиональный Союз писателей и тут же подает следующее заявление:

> “Прошу Союз писателей выдать мне удостоверение для местных властей, которое бы оберегало меня от разного рода налогов на хозяйство и реквизиций. Хозяйство мое весьма маленькое (лошадь, две коровы, несколько мелких животных и т. д.), и всякий налог на него может выбить меня из колеи творческой работы, то есть, вполне приостановить ее, ибо я, не эксплуатируя чужого труда, только этим и поддерживаю жизнь моей семьи”.
>
> *Сергей Есенин.*

С ПОЭТЕССОЙ М. ЦВЕТАЕВОЙ

В результате анонимного доноса братья Александр и Рубен Кусиковы были арестованы на своей квартире, там был произведен обыск и оставлена засада. Брали всех — молочницу, сапожника, принесшего сапоги, случайно зашедшего соседа. После короткого допроса их поочередно отпускали. Есенин тоже попал в эту засаду и был отвезен на Лубянку.

19 октября Есенин дал следующие показания.

> На вопрос: “С какого времени знакомы с гр. Кусиковым?” — отвечаю: “Я знаю Кусикова с 1917 г ., знаком, как с товарищем по деятельности литературной. Политические убеждения моего товарища вполне лояльны. К Советской власти сочувствие моего товарища выражалось в тех произведениях, которые принадлежат ему. Например, в сборнике “Красный офицер” и книге под заглавием “В никуда”. “Коевангелиеран”. У меня также имеется ряд произведений в революционном духе. Я был одним из первых поэтов в современном быте). На вопрос: “Кто может подтвердить о вашей деятельности и благонадежности?” — “Тов. Ангарский и тов. Луначарский и целый ряд других общественных деятелей”. На вопрос: “Как вы смотрите на современную политику Советской власти?” — “Вполне лоялен в переходный момент. К той эпохе, которая насаждает социализм, каковы бы проявления Советской власти ни были, я считаю, что факты этих проявлений всегда необходимы для той большой цели, какую несет коммунизм. Всякое лавирование Советской власти я оправдываю, как средство для улучшения военного и гражданского быта Советской России).
>
> На вопрос: “Что для вас кажется лавированием в действиях Советской власти?” — “Те действия Советской власти, которые осуществляются в области военной политики, я считаю, безусловно, лавированием. На заключение мира с Польшей я смотрю, как на необходимое явление в данный момент, в момент именно истощенной в экономической жизни страны). На вопрос: “Кто может вас взять на поруки?” отвечаю: “Может, безусловно, за меня ручаться, окромя вышесказанных, тов. Устинов, сотрудник Правительственной газеты, и другие. Больше показать

ничего не могу”.

С. Есенин.

25 октября поручительство за Есенина дал чекист Я. Г. Блюмкин.

После восьмидневной отсидки Есенин пришел к Марине Цветаевой. Что потянуло его в дом к хорошо знакомой и вместе с тем не особо близкой ему душевно поэтессе? О чем они говорили?

Дочь Марины Аля позднее вспомнила только то, что Есенин, придя, попросил еды.

— Восемь дней ничего не ел. Там даже воскресенья не празднуют, ни кусочка хлеба. Мне дали пол-яблока. Едва-едва вырвался, — рассказывал Есенин.

На этот раз вырвался. Что ждет впереди — не знал. Полагал только, что ничего доброго ожидать не следует.

Они сидели за столом, смотрели друг другу в глаза и вели тихую, неспешную беседу.

На этом все затихло. Но ненадолго. Следующий скандал произошел на заседании пролетарских писателей в ЛИТО, куда явился Есенин, посидел, послушал, а потом вышел на сцену.

— Здесь говорили о литературе с марксистским подходом. Никакой другой литературы не допускается. Это уже три года! Три года вы пишете вашу марксистскую ерунду! Три года мы молчали! Сколько же еще вы будете затыкать нам глотку? И на кой черт и кому нужен марксистский подход? Может быть, завтра же ваш Маркс сдохнет…

Возмущенные крики перебивались насмешками: ну чего еще можно от него ждать? Репутация известная: мало того, что имажинист, еще и хулиган в быту и в поэзии. Знаем мы, дескать, друг, и твой “кистень в голубой степи”, и “Исповедь хулигана”. Есенина исключили из Союза писателей.

Есенин понимал, что слава “первого русского поэта” неотделима от славы “хулигана и скандалиста”. Одно, увы, тогда было невозможно без другого. И приходилось тащить за собой этот черный шлейф, да так, чтобы никто из окружающих не понял, насколько тебе все это осточертело.

Поистине легче в кабаке, чем среди этой замечательной публики.

Он и отправлялся с друзьями-приятелями в кабак, в какую-нибудь тайную забегаловку, где в эпоху “сухого закона” можно было разжиться спиртом и хорошей закуской.

Во время одного такого визита на квартирку у Никитских ворот к Зое Петровне Шатовой веселая компания наткнулась на сотрудников ВЧК. По сигналу о тайной нелегальной сходке “контрреволюционеров” чекисты явились к Шатовой и обнаружили, что никакой контрреволюцией там и не пахло. Просто этот притон частенько посещали разного рода дельцы и спекулянты, которые за ромом и бургундским обделывали свои делишки, торговали золотом и драгоценностями. Всех посетителей, включая и поэтов вместе с сопровождавшим их Гришей Колобовым, забрали в кутузку.

Колобов, размахивая своим мандатом, пытался убедить чекистов, что они не имеют права арестовывать ответственного работника. Конечно, ничего из этих убеждений не вышло, и друзьям пришлось провести ночь на нарах, во время которой один из чекистов-латышей заставил поэтов мыть камеру.

Покидая тюремный двор, Есенин услышал позади себя:

— Сережа!

Оглянулся.

В тюремном окне мелькнуло женское лицо, глаза неподвижно смотрели на него. Он улыбнулся, махнул рукой. Старая знакомая! Мина. Мина Свирская… Еще совсем недавно он провел ее за руку в Политехнический, где читал “Сорокоуст”.

Вот где довелось свидеться! Милая подружка. Девочка-эсерочка. Что ждет ее теперь?

После освобождения пил на квартире в Богословском, стремясь унять боль. Напевал популярную бандитскую песенку:

— В жизни живем мы только раз, когда отмычки есть у нас!

Потом переходил на частушки собственного сочинения:

— Эх яблочко да цвету ясного, есть и сволочь в Москве цвету красного…

Вдруг замолкал, опускал голову, о чем-то мучительно про себя думал.

Шел в “Стойло Пегаса”, как всегда, откалывал очередные номера. Одному дельцу, громко ругающему выступавших, опрокинул на голову тарелку с соусом. В другой раз отказался выступать, вызвав негодующий рев в зальчике. Знал, что каждое его появление в “Стойле”” ждут с нетерпением: либо Есенин устроит скандал — хоть и небезопасно, а будет на что посмотреть, потешить нервы. Либо начнет читать стихи — тоже зрелище из незабываемых.

Он писал в это время на ходу, во время прогулок… Его видели праздношатающимся, сидящим за кофейным столиком, запоминали влипающим в очередную историю… Лишь единицы запомнили сжатые губы, ничего и никого не видящие глаза,

нечленораздельное мычание, раздававшееся в такт походке, из которого вдруг выплывали отдельные слова. Иной знакомый, встречающий его в переулке, обращался с сакраментальным вопросом:

— Вечно ты шатаешься, Сергей. Когда же ты пишешь?

— Всегда.

ТАНЦОВЩИЦА АЙСЕДОРА ДУНКАН, ВТОРАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ЖЕНА

О чем шумела, гудела и сплетничала вся Москва? О переезде Есенина на новое место жительства: в Балашовский особняк на Пречистенке. В дом, где поселилась недавно приехавшая в Москву мировая знаменитость — американская балерина-босоножка Айседора Дункан.

Она появилась в России 24 июля 1921 года в сопровождении ученицы и приемной дочери Ирмы, а также камеристки Жанны.

Это было ее пятое путешествие в Россию. Путешествие, кардинально отличавшееся от всех предыдущих.

Буржуазной Европе после первой мировой войны все надоело. Не нужна ей уже была и полузабытая, стареющая, отяжелевшая босоножка. Приезд Айседоры в Россию был ее последним шансом продлить свою артистическую жизнь.

Кроме того, возраст брал свое. В 1921 году Айседоре было уже 43 года.

Второй официальной женой Сергея Есенина стала Айседора Дункан — великая танцовщица своего времени. Ее мать была преподавателем музыки. Сама Айседора начала танцевать с 2-х летнего возраста. Вот как она рассказывала о своем искусстве:

— Мое искусство — это стремление выразить правду моего существа в жестах и движениях. Мне потребовались долгие годы, чтобы найти только одно абсолютно верное движение. Слова имеют иной смысл. Перед публикой, которая толпами сходилась на мои спектакли, я не испытывала колебаний. Я раскрывала перед ней самые сокровенные порывы своей души. С самого начала я отражала в танце только свою жизнь. В детстве я танцевала непроизвольную радость растущего существа. Когда я немного подросла, я танцевала с радостью, переходя затем к предчувствию первых трагедий, скрытых от нас завесой времени, — предчувствию безжалостной жестокости и сокрушительных ударов жизни.

В шестнадцатилетнем возрасте я танцевала перед зрителями без музыки. В конце одного спектакля кто-то из зрителей крикнул:

— Это девушка и смерть!

После этого танец стал называться “Девушка и смерть”. Но мое намерение было иным: я всего лишь пыталась внешне радостными проявлениями жизни выразить свое первое знание скрытой временем трагедии. Согласно моему пониманию, танец

следовало бы назвать “Девушка и жизнь”.

Позднее я танцевала свою борьбу с этой жизнью, которую зрители называли смертью, и свое отвоевывание у нее эфемерных радостей.

А перед тем, как выйти замуж за Есенина, Айседора создала свою теорию о браке:

— Все мое детство, казалось, прошло под мрачной тенью моего таинственного отца, о котором никто не заговаривал, и ужасное слово “развод” запечатлелось на чувствительной поверхности моего разума. Не имея возможности ни у кого спросить объяснения этих вопросов, я пыталась разрешить их сама. Большинство прочитанных мной романов кончались браком и блаженным благополучием, о котором не стоило больше писать. Но в некоторых из этих книг, особенно в романе Джорджа Элиота “Адам Бид”, была выведена девушка, которая не выходит замуж, ребенок, появляющийся, когда его не хотят, и ужасное бесчестие, падающее на бедную мать.

На меня произвела глубокое впечатление несправедливость этого положения вещей для женщин, и, сопоставив ее с историей моих родителей, я решила раз и навсегда, что буду бороться против брака, за освобождение женщины, за право каждой женщины иметь ребенка или нескольких детей, когда ей этого захочется.

Может показаться странным, что маленькая двенадцатилетняя девочка разрешает такие вопросы, но обстоятельства моей жизни сделали меня не по летам развитым ребенком. Я изучила законы о браке и пришла в негодование, узнав о рабском положении женщины.

Я принялась пытливо вглядываться в лица замужних женщин, подруг моей матери, и заметила, что на каждом виднелись печать зеленоглазого чудовища ревности и клеймо рабыни. Я дала обет на всю жизнь, что никогда не опущусь до этого унизительного состояния. Я всегда хранила его, даже когда он стоил мне отчуждения моей матери и превратного понимания всего света.

Одной из наилучших мер Советского правительства была отмена брака. Там двое людей расписываются в книге, а под подписью напечатано: “Эта подпись не возлагает никакой ответственности ни на одну из сторон и может быть аннулирована по желанию каждой из них”. Такой брак является единственным соглашением, на которое может пойти всякая свободолюбивая женщина, и единственной формой брака, под которой я когда-либо поставила бы свою подпись.

В настоящее время, я полагаю, мои идеи более или менее присущи каждой женщине со свободным разумом, но двадцать

лет назад мой отказ выйти замуж и борьба за право женщины рожать детей вне брака, продемонстрированная на личном примере, создали значительные недоразумения.

Когда отцы семейства говорят, что они работают для того, чтобы оставить своим чадам много денег, я задаюсь вопросом, осознают ли они, что тем самым лишают жизнь своих детей волнующего духа предприимчивости. Ибо каждый доллар, завещаемый детям, делает их на столько же слабее. Самое прекрасное наследство, которое вы можете оставить своему чаду, — это дать ему возможность самому пробиться в жизни, стоять полностью на собственных ногах. Преподавание приводило нас с сестрой в богатейшие дома Сан-Франциско. Я не завидовала богатым детям, а, напротив, жалела их. Я поражалась мелочности и вздорности их жизни, и по сравнению с детьми миллионеров я, казалось, была в тысячу раз богаче всем, что делает жизнь достойной.

Моя первая любовь:

— Среди этих учеников было двое молодых людей. Один был молодой доктор, второй — химик. Химик был изумительно красив и носил восхитительное имя — Вернон. Мне было тогда одиннадцать лет, но, зачесывая волосы вверх и нося длинные платья, я выглядела старше. Я записала в свой дневник, что безумно, страстно влюблена, и полагаю, что со мной это действительно было. Сознавал ли это Вернон или нет, не знаю. В том возрасте я была слишком стыдлива, чтобы открыть свое увлечение. Мы ходили на балы и танцы, где почти каждый танец он танцевал со мной, а затем я бодрствовала до раннего утра, рассказывая своему дневнику об ужасающей дрожи, которую испытала, “носясь”, как я это излагала, “в его объятиях”. Днем он работал в аптеке на главной улице, и я исхаживала целые мили, чтобы лишний раз пройти мимо него. Иногда я набиралась достаточно храбрости, входила и спрашивала:

— Как вы поживаете?

Я разыскала дом, в котором он жил, и обычно убегала вечером посмотреть на свет в его окне. Это увлечение продолжалось два года, и я считала, что страдаю очень сильно. К концу второго года он объявил о своей предстоящей женитьбе на одной молодой девушке из оклендского общества. Я излила свое мучительное отчаяние на страницы дневника. Помню день свадьбы и свои чувства, когда увидала, как Вернон спускается из церковного придела с некрасивой девушкой под белым покрывалом. После этого я больше его не видела.

Когда я недавно в последний раз танцевала в Сан-Франциско, в мою уборную вошел какой-то мужчина с белоснежными

волосами, но кажущийся совершенно молодым и чрезвычайно красивым. Я узнала его сразу. Это был Вернон. Я решила, что после всех минувших лет могу рассказать ему об увлечении своей молодости. Я думала, что это его позабавит, но он чрезвычайно испугался и заговорил о своей жене, неинтересной девушке, которая, оказывается, еще была жива и любовь к которой у него никогда не прекращалась. Как бесхитростно может протекать жизнь некоторых людей!

Такова была моя первая любовь. Я была безумно влюблена и полагаю, что с тех пор никогда не переставала быть безумной влюбленной.

Айседора Дункан о танце:

— Человек сначала должен говорить, потом петь, потом танцевать. Говорит мозг, думающий человек. Пение — это чувство, а танец — исступленный восторг, все увлекающий за собой.

Великий Станиславский об Айседоре Дункан во время посещения Петербурга в 1908 году:

— После первого вечера я уже не пропускал ни одного концерта Дункан. Потребность видеть ее часто диктовалась изнутри артистическим чувством, близко родственным ее искусству. Впоследствии, познакомившись с ее методом, так же как с идеями ее гениального друга Крэга, я понял, что в разных концах мира, в силу неведомых нам условий, разные люди, в разных областях, с разных сторон ищут в искусстве одних и тех же очередных, естественно нарождающихся творческих принципов. Встречаясь, они поражаются общностью и родством своих идей. Именно это и случилось при описываемой мною встрече: мы с полуслова понимали друг друга.

Я не имел случая познакомиться с Дункан при первом ее приезде. При последующих ее наездах в Москву она была у нас на спектакле и я должен был приветствовать ее как почетную гостью. Это приветствие стало общим, так как ко мне присоединилась вся труппа, которая успела оценить и полюбить ее как артистку.

Дункан не умела говорить о своем искусстве последовательно, логично, систематично. Большие мысли приходили к ней случайно, по поводу самых неожиданных обыденных фактов. Так, например, когда ее спросили, у кого она училась танцам, она ответила:

— У Терпсихоры. Я танцевала с того момента, как научилась стоять на ногах. И всю жизнь танцевала. Человек, все люди, весь свет должны танцевать, это всегда было и будет так. Напрасно только этому мешают и не хотят понять естественной потребности, данной нам самой природой.

Дункан попыталась соблазнить Станиславского. Она сама рассказывала об этом:

— Будучи чрезвычайно занятым на репетициях в своем театре, Станиславский имел обыкновение часто приходить ко мне после спектакля. В своей книге он говорит о наших беседах:

“Думаю, что я должен был надоесть Дункан своими расспросами”.

Нет, он не надоел мне. Я горела желанием делиться своими идеями. Резкий снежный воздух, русская пища, особенно икра действительно совершенно исцелили мой изнурительный недуг, вызванный бесплотной любовью к Тоде. И сейчас все мое существо жаждало общения с сильной личностью. Когда Станиславский стоял передо мной, я видела ее в нем.

Как-то вечером я взглянула на его прекрасную, статную фигуру, широкие плечи, черные волосы, лишь на висках тронутые сединой. Так как он собирался уходить, я положила руки ему на плечи и, притянув его голову к своей, поцеловала его в губы. Он с нежностью вернул мне поцелуй. Но он принял крайне удивленный вид, словно этого он менее всего ожидал.

Когда я попыталась привлечь его ближе, он отпрянул и, недоуменно глядя на меня, воскликнул:

— Но что мы станем делать с ребенком?!

— С каким ребенком? — спросила я.

— Да, разумеется, с нашим ребенком! Что мы станем с ним делать? Видите ли, — глубокомысленно продолжал он, — я никогда не соглашусь, чтобы кто-либо из моих детей воспитывался вне моего надзора, а это оказалось бы затруднительным при моем настоящем семейном положении.

Его необычайную серьезность при упоминании об этом ребенке пересилило мое чувство юмора, и я разразилась смехом. Он со скорбью посмотрел на меня, вышел из комнаты и быстро зашагал по коридору гостиницы. А меня ночью не раз разбирал смех. Но хотя мне и было смешно, я была раздосадована и даже рассержена.

Много лет спустя я рассказала про этот случай со Станиславским его жене. Она очень развеселилась и воскликнула:

— О, но это на него так похоже! Ведь он относится к жизни очень серьезно.

Сколько я его ни атаковала, я добилась лишь нескольких нежных поцелуев, а в остальном встретила твердое и упорное сопротивление, которого нельзя было преодолеть. Станиславский больше не рисковал заходить ко мне после спектакля, но однажды он доставил мне большое удовольствие, повезя меня в открытых санях в загородный ресторан, где мы позавтракали в отдельном

кабинете. Мы пили водку и шампанское, вели разговор об искусстве.

Я часто слышала об ужасных опасностях, которые подстерегают молодых девушек, вступающих в театральную жизнь, но, как читатели видят по моей жизни до сих пор, со мной было как раз наоборот. В действительности я страдала от чрезмерного благоговения, уважения и преклонения, которые я вселяла в своих поклонников.

Первая настоящая любовь пришла к Айседоре в Берлине, когда она стала очень популярной.

Однажды вечером, в 1905 году, она танцевала в Берлине. Хотя, как правило, во время танца она никогда не обращала внимания на зрителей, в этот вечер узнала человека, сидящего в первом ряду. Не смотрела на него и не видела, кто он такой, но физически чувствовала его присутствие. По окончании спектакля в ее уборную вошло прекрасное существо. Но прекрасное существо было очень сердито.

— Вы чудесны! — воскликнул он. — Вы удивительны! Но зачем вы украли мои идеи? Откуда вы достали мои декорации?

— О чем вы говорите? Это мои собственные голубые занавесы. Я придумала их, когда мне было пять лет, и с тех пор я всегда танцую перед ними.

— Нет! Они принадлежат мне! Это мои идеи. Но вы — то существо, которое я себе представлял перед моими декорациями. Вы воплотили в жизнь все мои мечты.

— Но кто вы такой?

Тут она услыхала, как он произнес удивительные слова:

— Я сын Эллен Терри.

Эллен Терри, ее идеала совершеннейшей женщины! Эллен Терри!..

— Вы должны поехать с нами домой и поужинать у нас, — сказала мать Айседоры по простоте душевной. — Раз вы питаете такой интерес к искусству Айседоры, вы должны поехать к нам домой ужинать.

И Крэг поехал к ним домой ужинать.

Он находился в состоянии необузданного возбуждения. Он желал объяснить все идеи своего искусства, свои честолюбивые мечты.

Айседора была чрезвычайно заинтересована. Крэг говорил и говорил о своем искусстве театра. Он разъяснял свое искусство жестами.

Внезапно в середине разговора он сказал:

— Но что вы делаете здесь? Вы великая артистка — и живете в семейной среде? Ведь это нелепо! Я единственный, кто увидел и

изобрел вас. Вы принадлежите моим декорациям.

Крэг был высок и гибок, с лицом, напоминающим лицо его чудной матери, но с еще более нежными чертами. Несмотря на его высокий рост, было нечто женственное в нем, в особенности в линиях губ, чувственных и тонких. Его глаза, очень близорукие, сверкали стальным огнем за стеклами очков. Он производил впечатление нежности, некоторой почти женственной слабости. Лишь его руки, с обезьяньими четырехугольными большими пальцами и широкими остальными, обнаруживали силу. Он всегда со смехом говорил о них как о пальцах убийцы, “годных, чтобы задушить тебя, моя дорогая!”

Словно загипнотизированная, Айседора позволила ему надеть плащ поверх короткой белой туники. Он взял ее за руку, и они сбежали вниз по лестнице на улицу. Он окликнул такси и сказал на прекрасном немецком языке:

— Эта дама и я, мы хотим поехать в Потсдам.

Несколько такси отказались повезти их, но, наконец, они нашли одно и помчались в Потсдам. Прибыли на рассвете и, остановившись в небольшом отеле, который только успел открыться, напились кофе. Затем, когда солнце поднялось высоко на небе, они отправились обратно в Берлин.

Прибыли в Берлин около девяти часов, и тут им пришла в голову мысль: что же они станут делать? Они не могли вернуться к матери и направились к одной подруге, по имени Эльзи де Бругэр.

Эльзи де Бругэр принадлежала к кругу богемы. Она встретила их с деликатным сочувствием, дала позавтракать и уложила Айседору спать в своей спальне. Она заснула и не просыпалась до вечера.

Затем Крэг отвел ее в свою студию, расположенную на вышке высокого берлинского здания. В ней был черный навощенный пол, весь усыпанный лепестками роз, искусственными лепестками роз.

В лице Крэга она нашла сверкающую юность, красоту, и гения. Вся воспламененная внезапной любовью, она кинулась в его объятия, и получила ответную страсть.

В его студии нельзя было найти ни дивана, ни глубокого кресла, ни обеда. В эту ночь они спали на полу. У Крэга не было ни гроша, а Айседора не отважилась пойти домой за деньгами. Она спала так в течение двух недель. Когда они хотели пообедать, Крэг распоряжался, чтобы обед прислали наверх в кредит, Айседора же пряталась на балконе, пока его не приносили, а затем прокрадывалась внутрь и получала свою долю.

Мать обошла все полицейские участки, все посольства,

рассказывая, что какой-то подлый соблазнитель убежал с ее дочерью, между тем как импресарио обезумел от беспокойства, вызванного внезапным исчезновением Айседоры. Многочисленной публике, собиравшейся на концерт, отказывали, и никто не знал, что случилось. Однако в газетах благоразумно поместили объявление, что мисс Айседора Дункан серьезно заболела воспалением миндалевидных желез.

По прошествии двух недель они вернулись в дом матери. Айседоре, несмотря на ее неистовую страсть, надоело спать на жестком полу и ничего не есть, разве лишь то, что Крэгу удавалось доставать в гастрономе.

Когда мать увидела Гордона Крэга, она закричала:

— Подлый соблазнитель, убирайтесь отсюда!

Она жестоко его ревновала.

Айседора Дункан о Крэге:

— Гордон Крэг — это один из необыкновеннейших гениев нашей эпохи. Он был вдохновителем целого направления в современном театре. Правда, он никогда не принимал активного участия в практической жизни подмостков. Он оставался в стороне и мечтал, но его мечты вдохновили все, что сейчас есть прекрасного в современном театре. Без него мы никогда бы не имели Рейнхардта, Жака Копо, Станиславского. Без него мы все еще оставались бы позади, при старых реалистических декорациях, где на деревьях колышется каждый листик, а двери в домах отворяются и закрываются. Крэг был блестящим сотоварищем. Он был одним из тех немногих встреченных мною людей, которые с утра до вечера были в экзальтации.

Он всегда впадал в состояние неистового возбуждения, встречая на своем пути дерево, птицу или ребенка. С ним нельзя было провести ни одной скучной минуты. Нет, он всегда томился муками исступленного восторга, либо, в другой крайности, внезапным гневом, когда все небо казалось ему помрачневшим и внезапный страх заполнял все. И тогда жизнь медленно покидала тело и оставался лишь мрак тоски.

После Крэга любовником Дункан стал красивый, молодой, белокурый мужчина по имени Пим. Айседора о нем:

— В гостинице “Европа” (Петербург, 1908 г .) лестница была широкой, и по ней каждый час сбегал Пим в костюме каждый раз нового цвета и в новом галстуке — к восхищению всех присутствующих. Он был всегда изысканно одет и в самом деле являлся законодателем мод в Гааге. Голландский художник Ван Влей нарисовал его портрет на фоне разноцветных тюльпанов — золотистых, пурпуровых и розовых.

Пим был красив — белокурый и голубоглазый, но без какого-

либо интеллектуального комплекса. Его любовь подтверждала мне афоризм Оскара Уайльда: “Лучше радость, которая длится минуту, чем скорбь, которая длится вечно”.

Пим давал радость, которая длится минуту. До встречи с ним любовь приносила мне одни лишь идеалы, романтику и страдания. Пим принес мне радость, и только, но настоящую, восхитительную радость, как раз в ту минуту, когда я больше всего в ней нуждалась, потому что без Пима я погрузилась бы в безнадежную неврастению. Присутствие Пима вдохнуло в меня новую жизнь, придало новые силы. Может быть, впервые я познала наслаждение просто легкомысленной молодости. Он смеялся при каждом слове, прыгал и танцевал. Я позабыла свои огорчения, жила одной минутой и была беззаботна и счастлива. Как следствие, жизнь и радость, возродившись, били ключом через край в моих концертах.

Именно тогда я сочинила “Музыкальное мгновение”, которое имело такой успех у русских, что мне приходилось повторять его каждый вечер по пять или шесть раз. “Музыкальное мгновение” было танцем Пима: радость на миг.

…Удивительно, что когда расстаешься с любимым человеком, то, несмотря на скорбь, одновременно испытываешь странное чувство освобождения.

Кстати, из моей автобиографии следует, что я всегда оставалась верной своим возлюбленным и, вероятно, не покинула бы ни одного из них, если бы они оставались верными мне. Полюбив их раз, я люблю их поныне и навсегда.

Весной 1921 года Айседора получила телеграмму от Советского правительства:

“Русское правительство единственное, которое может понять вас. Приезжайте к нам. Мы создадим вашу школу”.

Она ответила:

“Да, я приеду в Россию и стану обучать ваших детей при единственном условии, что вы предоставите мне студию и все, что необходимо для работы”.

Имеются разные описания встречи Есенина и Дункан в 1922 году, в Москве, к тому времени, когда Дункан уже имела свою студию, и обучала детей танцам.

…Однажды вечером группа артистов пригласила Айседору на вечеринку в дом известного поэта, и перед уходом она ощутила что-то вроде дурного предчувствия. Она вошла в детскую спальню и сказала:

— Дети, помните всегда, чему я вас учила. Я вручаю вам тайную эстафету, которую вы в свою очередь должны нести

другим детям, что бы со мной не случилось. Обещайте!

Тихими, дрожащими голосами они ответили:

— Обещаем, Айседора, наша Айседора.

На этой вечеринке была вся молодая интеллигенция Москвы. Айседора надела свою длинную танцевальную тунику и золотые сандалии, а на голову — золотой газовый шарф. Губы накрасила ярко-красной помадой, глаза подвела черной тушью. Ей хотелось своим видом бросить вызов серости и страданию, на которые она достаточно нагляделась. Все тело ее трепетало при мысли о настоящей оргии артистов. Когда русские что-то затевают, то делают это от души. Никакие ограничения, законы, нужда не помешают русским художникам устроить великолепную вечеринку, если они решат ее устроить.

Когда Айседора приехала, вечеринка была в разгаре.

— О, Айседора! Почему так поздно? Наш молодой поэт Есенин уже перевернул пол-Москвы, разыскивая тебя. Он слышал о твоей славе и заявляет, что не заснет, пока с тобой не увидится!

По обычаю, Айседоре преподнесли штрафной стакан водки, который надо было выпить до дна, не оставляя ни капли, а вся компания пела о ней заздравную. Такой дозы было достаточно, чтобы человек перестал что-либо соображать, и ни еда до отвала, ни питье не помогали.

Вдруг дверь с треском распахнулась, и перед Айседорой возникло самое прекрасное лицо, какое она когда-либо видела в жизни, обрамленное золотыми блестящими кудрями, с проникающим в душу взглядом голубых глаз. Поэта и танцовщицу не понадобилось представлять друг другу. Это была судьба. Она открыла объятия, и он упал на колени, прижимая ее к себе с возгласом:

— Айседора, Айседора, моя, моя!

Потом ей рассказывали, что она танцевала, что Сергей Есенин читал стихи, что они приехали к ней домой и устроили большой пир, но она помнила лишь голову с золотыми кудрями, лежавшую у нее на груди, и возгласы “Айседора, Айседора, моя, моя!” и до самой смерти говорила, что помнит, как его голубые глаза смотрели в ее глаза и как у нее появлялось единственное чувство — укачать его, чтобы он отдохнул, ее маленький золотоволосый ребенок.

С этого дня у Айседоры не было ни часа покоя, и очень скоро она поняла, что молодой поэт не только великий гений, но и сумасшедший. За ним всегда следовала группа приятелей, которые его ни на минуту не оставляли и не давали им остаться одним. День за днем, ночь за ночью дом был полон этой очаровательной дикой, сумасшедшей бандой писателей,

художников и разного рода актеров.

Эта группа называлась “Скандалистами”, и она вполне оправдывала свое название. Не было границ ее выходкам, даже когда дело доходило до поломок и разрушений. Каждый вечер члены ее были шумно пьяны и не ложились спать до утра. Да что говорить, иногда они по двое-трое суток подряд дико, по сумасшедшему веселились, переходя из дома в дом, бросая вызов всем и всему.

Есенин считал само собой разумеющимся, что ее школа, ее дом, все, что у нее есть, с этого момента принадлежит ему, а что принадлежит ему, принадлежит всем его друзьям. Это не облегчало работу по созданию школы и получению помощи от правительства.

Айседора непрерывно обращалась то к одному чиновнику, то к другому, “выбивая” детям продукты, и, наконец, ей удалось добиться для них одноразового питания. Организация американской помощи тоже кормила их раз в день, а третий раз кормила детей сама Айседора за свой счет.

Хотя Айседора была восторженно и страстно влюблена, она находила время ежедневно обучать своих учеников, и они расцветали, превращаясь в прелестные создания. Единственным наказанием непослушным детям в школе было запрещение им заниматься танцем, и никакое другое наказание не могло быть для них тяжелее.

Сергей обычно вставал очень поздно, да и другие тоже, кроме детей, которые обязаны быть на занятиях. Очень часто Сергей к вечеру исчезал, и никто ничего о нем не знал до полуночи или часа ночи. К этому моменту в доме устанавливалась полная тишина, все маленькие дети спали. Он, бывало, возвращался с огромной ревущей бандой, поднимавшей невероятный шум, и бешено несся по мраморной лестнице с воплем:

— Айседора, кушать, кушать!

Бедную француженку-служанку Жанну поднимали с постели и заставляли печь блины или готовить до утра другие вкусные блюда. Компания всегда привозила с собой музыкальные инструменты и играла, пела, читала стихи и танцевала.

Айседора приехала в Россию без достаточно теплой одежды, и когда начались жестокие морозы, нарком Луначарский пригласил ее выбрать себе из многих тысяч меховых шуб, собранных у аристократов, несколько подходящих. Она выбрала простую беличью шубку.

В это время Айседора и Есенин часто ездили в гости к одному из известных скульпторов, Коненкову, который жил в одной огромной комнате. Для ее отопления ему отпускались дрова, но

он приладил в конце длинной комнаты маленькую печурку, которую топил углем, и, закутанный до самых глаз во все теплое, что было в доме, день и ночь вырезал из поленьев различные вещи. Здесь Сергей, казалось, чувствовал себя лучше всего. Он часами читал стихи, а Коненков продолжал работать. Затем Коненков приносил немного водки, черного хлеба и колбасы, и начинался великолепный пир. Это были одни из счастливейших дней в жизни Айседоры.

Оказавшись к весне 1921 года буквально в мертвой точке, ощущая свою ненужность, пережив трагическую гибель детей, брошенная всеми знаменитыми мужьями и последним любовником, Дункан сходила с ума от одиночества и находилась, как можно судить по ее воспоминаниям, на грани самоубийства. Приглашение в Советскую Россию явилось для нее истинным спасением.

В памяти ее возникали картины прежних приездов в Россию, и особенно первого — в январе 1905 года. Ее любовь к России всегда была обостренной и только усиливалась с годами, а Октябрьская революция стала для нее воплощением силы, способной перевернуть мир и придать ему новые формы, которые она тщетно искала на сценах парижских, берлинских и лондонских театров.

Человек богемный по своей сути, Дункан чувствовала себя как рыба в воде в кругу художественной богемы — писателей, художников, актеров… Именно в одном из самых известных мест артистической Москвы — студии художника Георгия Якулова — и произошла ее встреча с Сергеем Есениным.

Есенин к этой встрече был уже своеобразно подготовлен. Услышав о приезде Дункан, он, по свидетельствам очевидцев, жаждал с ней личной встречи.

Нельзя сказать, чтобы Дункан пользовалась большим успехом в России. Широкая публика ее принимала лишь отчасти, а композиторы, музыканты, тонкие ценители балета вздрагивали от ужаса. Ее балетные босоногие вариации под музыку Бетховена, Штрауса, Чайковского не могли не шокировать. Но где Дункан встретили на “ура”, так это в кругу поэтов-символистов.

Случайно или нет, но Дункан появлялась в России в самые трагические для страны периоды — в 1905, 1907, 1914, 1921 годах.

Их встреча была, что называется, предрешена. С первого мгновения они ощутили не просто взаимную душевную близость. Это была встреча особей одной человеческой породы, одного типа.

Оба в это время были страшно по-человечески одиноки.

Незадолго до встречи с Айседорой народный суд города Орла вынес решение о расторжении брака Есенина с Зинаидой Райх. Семьи, как таковой, давно уже не было, и все же потерю детей и официальный развод Есенин перенес крайне болезненно. В попытках найти утешение он пишет письмо верной имажинистской помощнице Бениславской с предложением встретиться. Бениславская, влюбленная в Есенина, долго ждала этой минуты… Поторопилась. Айседора заслонила вся и всех. Галина будет ждать своего часа, вплоть до возвращения Есенина из-за границы, куда он поедет вместе с Дункан.

Оба они — и Дункан, и Есенин — отличались редкой широтой, душевной щедростью и мотовством. Дункан проматывала состояния своих мужей и свои собственные гонорары не глядя. Есенин точно так же поступал со своими заработками. И оба они были, по существу, бездомными людьми.

И потянулись два мечтателя, Есенин и Дункан, друг к другу не столько как мужчина и женщина, сколько как два человека схожего душевного склада. Каждый из них ценил друг в друге нечто высшее, чем собственно мужское или женское… И с его и с ее стороны в большей степени преобладала любовь к образу, созданному в реальной жизни каждым из них, чем к конкретному человеку.

Если Айседора Дункан, помимо всего прочего, увидела в Есенине сходство со своим погибшим малолетним сыном, то для Есенина не меньшее значение имело ощущение не столько женской, сколько материнской ласки, которой ему так не хватало в детстве: все женщины, оставившие глубокий след в жизни поэта, были старше его по возрасту.

После юношеского романа с Анной Сардановской Есенин подсознательно тянулся к женщинам, способным дать ему именно материнскую заботу и нежность. Анна Изряднова — 1891-й. Айседора Дункан — их разница в возрасте измерялась 18 годами. Старше его была и Августа Миклашевская.

На Пречистенке все было бесплатно, более того, провизия и спиртное поставлялись непосредственно из Кремля.

Компания гуляла и веселилась, наслаждаясь общением с Айседорой. Перескакивая с английского на французский и обратно, она смешно и неумело вставляла в поток своей речи исковерканные русские слова. Потом, поворачиваясь к Есенину, начинала очередной монолог, обращенный персонально к неподвижно сидящему, опустившему голову поэту:

— Люблю тебя!

Достаточно было замолкнуть разговору, как она вскакивала и включала патефон. Или мчалась к роялю.

Привычно радостный шум гостей и приятелей могла прорезать бешеная матерная тирада… Все в ужасе замирали, только Айседора радостно всплескивала руками, как бы наслаждаясь вспышкой есенинского гнева и необычным русским лексиконом, который она тут же начинала перенимать. Все это еще больше бесило поэта, и он то начинал прилюдно издеваться над своей возлюбленной, то с еще большим угрюмством принимался пить водку, то заставлял Айседору танцевать.

Танцы на Пречистенке были совсем иного рода, нежели на московских и петроградских сценах. Тут не было ни “Интернационала”, ни “Славянского марша”. Айседора демонстрировала свой коронный номер — танец публичной женщины с апашем, роль которого исполнял черный шарф Дункан.

Есенин, замерев на месте, не отрываясь смотрел на этот жуткий танец.

Дункан медленно двигалась по кругу, покачивая бедрами, подбоченясь левой рукой. В правой — ритмично, в такт шагам, подрагивал шарф, буквально оживавший на глазах потрясенных зрителей.

От нее исходила пьянящая, вульгарная женственность, влекущая и отвращающая одновременно. Танец становился все быстрее… “Апаш”, превратившийся в ее руках в сильного, ловкого, грубого хулигана, творил с блудницей все, что хотел, раскручивал ее вокруг себя, бросал из стороны в сторону, сгибая до земли, грубо прижимал к груди… Создавалось впечатление, что он окончательно покорил ее и овладевает своей жертвой на глазах у всех.

Постепенно его движения становились все менее уверенными. Теперь она вела танец, она подчиняла его себе и влекла за собой… Он терял прежнюю ловкость и нахальство с каждым движением, превращаясь в ее руках в безвольную тряпку.

12 апреля 1922 года мать Айседоры Дункан умерла в Париже. Узнав об этом, Дункан стала рваться в Европу и дальше — за океан. Она послала телеграмму Солу Юроку с просьбой организовать двенадцатинедельные гастроли ее, Ирмы (приемная дочь Дункан), “великого русского поэта Есенина” и двенадцати своих учениц. В конце концов, заграничные паспорта получили Есенин и Айседора, которые предварительно сходили в загс и зарегистрировали свой брак 3 мая 1922 года. При этом поэт получил фамилию: Есенин-Дункан.

Дункан собиралась везти нового мужа за границу для лечения. Ей казалось, что ему необходимо проверить нервы у

лучших европейских специалистов.

Наиболее объективный портрет Есенина этого времени дает полячка Лола Кинел в своей книге “Под пятью орлами” (1937 год).

Лола приехала к Айседоре летом 1922 года, чтобы выполнять при актрисе обязанности секретарши. Она хорошо знала русский язык и оставила превосходное описание того, как Есенин читал в Брюсселе отрывки из “Пугачева”. Она была свидетельница трезвого почти двухмесячного периода его жизни во время поездки всей компании из Франции в Италию.

Однажды, рассказывает Лола, в Венеции на прогулке в гондоле Есенин вспоминал свою жизнь в России:

“Его голос был тихим, и глаза его были мечтательными, и в нем было то, что заставляло меня думать, что душа его похожа на душу ребенка, таинственно мудрую, но нежную”.

В эту ночь, по словам Лолы Кинел, Есенин вспоминал свое детство, людские лица того времени и самое прекрасное лицо, которое он когда-либо видел в своей жизни: лицо юной монахини в православном монастыре. Он размышлял о живых и мертвых словах в языке, о всегда живом языке крестьян, странников, воров, пел народные песни. Однажды в гостинице “Лидо” на берегу Адриатики Есенин читал вслух стихи Пушкина.

Но иногда, как вспоминает Лола Кинел, они спорили о весьма серьезных вещах:

“Есенин и Айседора беседовали как-то об искусстве. Есенин сказал:

— Танцовщица не может стать великим человеком, ее слава живет недолго. Она исчезает, как только умирает танцовщица.

— Нет, — возразила Айседора. — Танцовщица, если это выдающаяся танцовщица, может дать людям то, что навсегда останется с ними, может навсегда оставить в них след, ведь настоящее искусство незаметно для людей изменяет их.

— Но ведь они умерли, Айседора, те люди, кто видел ее, и что? Танцовщики, как и актеры: одно поколение помнит их, следующее читает о них, третье — ничего не знает.

Я переводила, а Айседора слушала, как всегда полная внимания и симпатии к Есенину. Он медленно поднялся, прислонился к стене и, сложив руки — была у него такая привычка при разговоре, — нежно посмотрел на нее и сказал:

— Ты — просто танцовщица. Люди могут приходить и восхищаться тобой, даже плакать. Но когда ты умрешь, никто о тебе не вспомнит. Через несколько лет твоя великая слава испарится. И — никакой Айседоры!

Все это он сказал по-русски, чтобы я перевела, но два

последних слова произнес на английский манер и прямо в лицо Айседоре, с очень выразительным насмешливым жестом — как бы развеивая останки Айседоры на все четыре стороны…

— А поэты — продолжают жить, — продолжал он, все еще улыбаясь. — И я, Есенин, оставлю после себя стихи. Стихи тоже продолжают жить. Такие стихи, как мои, будут жить вечно.

В этой насмешке и поддразнивании было что-то слишком жестокое. По лицу Айседоры пробежала тень, когда я переела его слова. Неожиданно она повернулась ко мне, и голос ее стал очень серьезен:

— Скажите ему, что он не прав, скажите ему, что он не прав. Я дала людям красоту. Я отдавала им душу, когда танцевала. И эта красота не умирает. Она где-то существует… — У нее вдруг выступили на глаза слезы, и она сказала на своем жалком русском: — Красота ни умирай!

Но Есенин, уже полностью удовлетворенный эффектом своих слов — оказывается, у него часто появлялось нездоровое желание причинять Айседоре боль, унижать ее, — стал сама мягкость. Характерным движением он притянул к себе кудрявую голову Айседоры, похлопал ее по спине, приговаривая:

— Эх, Дункан…

Айседора улыбнулась. Все было прощено”.

Вскоре они сели в самолет и полетели в Берлин.

Из России Айседора уехала лишь с одной мыслью: показать своему молодому мужу красоту мира. Она считала, что он прекрасный, исключительный поэт.

Айседора часто говорила, что будет его Вергилием и проведет по всему миру, открывая ему глаза на шедевры искусства.

Для осуществления этого путешествия ей пришлось много танцевать и зарабатывать много денег, чтобы их пребывание повсюду было обставлено с комфортом и доставило большое удовольствие.

Во время полета из Москвы в Берлин, начавшего их медовый месяц, им выпало перенести неистовые бури, яростные порывы ветра, и они чудом избежали нескольких серьезных аварий. Они прибыли в Берлин 12 мая 1922 г ., полные радости и счастья. Айседора сияла. Все, кто знал ее в это время, до сих пор считают, что она ни на день не выглядела старше Сергея. Она очень похудела и была прекрасна.

Сергей, не очень разбиравшийся в том, что принято носить за границей, но имея слабость к вещам, вырядился в синий костюм и белые парусиновые туфли, считая, что в них он очень наряден. С его золотой гривой, обрамлявшей голову, подобно ореолу, было все равно, что надеть. Лицо у него было всегда прекрасным,

кроме тех моментов, когда наступали страшные припадки, — тогда он был просто исчадием ада. Менялся он весь, даже цвет глаз и волос. Нельзя было поверить, что это один и тот же человек.

Временами, когда на Сергея нападала тоска, Айседоре трудно было с ним справиться. Очень часто она заставала его стоящим на подоконнике и грозящим выброситься из окна отеля. Это лишь убеждало ее еще сильнее, что он обладает настоящим артистическим темпераментом, и, боясь, что он чувствует себя одиноким без соотечественников, она наняла в качестве секретарей двух его приятелей, тоже нуждающихся поэтов, платя им большие деньги, и даже привезла их в Америку.

Первое, что Айседора сделала в Берлине, это дала Есенину свободу действий в отношении портного. Результаты, мягко говоря, были оригинальными, и она была более чем поражена, когда обнаружила, что он заказал больше вещей, чем человек способен сносить за всю жизнь. Но Айседора просто сказала:

— Он ведь такой ребенок, и у него никогда ничего в жизни не было, так что я не могла ругать его за это.

Сергей почувствовал себя в благах цивилизации, как рыба в воде, и требовал, чтобы ему каждый день мыли голову, чтобы у него была отдельная ванна, много одеколона, пудры, духов и т. п.

У Айседоры и ее молодого поэта без конца возникали сцены, когда они хотели что-то внушить друг другу, ведь большая часть их языка состояла из жестов. В конце концов, они нашли для себя ломаный английский язык, который понимали только они, но который годился на все случаи жизни.

Неделю они прожили у сестры Дункан Элизабет в Школе Элизабет Дункан, размещавшейся тогда во дворце бывшего кайзера в Потсдаме.

Н.В. Толстая-Кандиевская (жена писателя Алексея Толстого) о пребывании Есенина и Дункан в Берлине:

“— У нас гости в столовой, — сказал Толстой, заглянув в мою комнату, — Клюев привел Есенина. Выйди, познакомься. Он занятный.

Я вышла в столовую. Поэты пили чай. Клюев в поддевке, с волосами, разделенными на пробор, с женскими плечами, благостный и сдобный, похож был на церковного старосту. Принимая от меня чашку с чаем, он помянул про великий пост. Отпихнул ветчину и масло. Чай пил “по-поповски”, накрошив в него яблоко. Напившись, перевернул чашку, деловито осмотрел марку фарфора, затем перекрестился в угол на этюд Сарьяна и принялся читать нараспев вполне доброкачественные стихи.

Временами, однако, чересчур фольклорное словечко заставляло насторожиться. Озадачил меня также его мизинец с длинным, хорошо отполированным ногтем. Второй гость, похожий на подростка, скромно покашливал. В голубой косоворотке, миловидный; льняные волосы, уложенные бабочкой на лбу; с первого взгляда — фабричный паренек, мастеровой. Это и был Есенин. На столе стояли вербы. Есенин взял темно-красный прутик из вазы.

— Что мышата на жердочке, — сказал он вдруг и улыбнулся.

Мне понравилось, как он это сказал, понравился юмор, блеснувший в озорных глазах, и все в нем вдруг понравилось. Стало ясно, что за простоватой его внешностью светится что-то совсем не простое и не обычное.

Крутя вербный прутик в руках, он прочел первое свое стихотворение, потом второе, третье. Он читал много в тот вечер. Мы были взволнованы стихами, и не знаю, как это случилось, но в благодарном порыве, прощаясь, я поцеловала его в лоб, прямо в льняную бабочку, и все вокруг рассмеялись. В передней, по-мальчишески качая мою руку после рукопожатия, Есенин сказал:

— Я к вам опять приду. Ладно?

— Приходите, — откликнулась я.

Но больше он не пришел.

Это было весной 1917 года, в Москве, и только через пять лет мы встретились снова, в Берлине, на тротуаре Курфюрстендама.

На Есенине был смокинг, на затылке цилиндр, в петлице хризантема. И то, и другое, и третье, как будто бы безупречное, выглядело на нем по-маскарадному. Большая и великолепная Айседора Дункан с театральным гримом на лице шла рядом, волоча по асфальту парчовый подол. Ветер вздымал лиловато-красные волосы на ее голове. Люди шарахались в сторону.

— Есенин! — окликнула я.

Он не сразу узнал меня. Узнав, подбежал, схватил мою руку и крикнул:

— Ух ты… Вот встреча! Сидора, смотри, кто…

— Qui est ce? (Кто это? — фр.) — спросила Айседора. Она еле скользнула по мне сиреневыми глазами и остановила их на Никите, которого я вела за руку.

Долго, пристально, как бы с ужасом, смотрела она на моего пятилетнего сына, и постепенно расширенные атропином глаза ее ширились еще больше, наливались слезами.

— Сидора! — тормошил ее Есенин. — Сидора, что ты?

— Oh! — простонала она наконец, не отрывая глаз от Никиты. — Oh, oh! — И опустилась на колени перед ним, прямо на тротуар.

Перепуганный Никита волчонком глядел на нее. Я же поняла все. Я старалась поднять ее, большую, отяжелевшую от скорби. Есенин помогал мне. Любопытные столпились вокруг. Айседора встала и, отстранив меня и Есенина, накрыв голову шарфом, пошла по улицам, не оборачиваясь, не видя перед собой никого, — фигура из трагедий Софокла; Есенин бежал за ней в своем глупом цилиндре, растерянный.

— Сидора, — кричал он, — подожди! Сидора, что случилось?

Никита горько плакал, уткнувшись в мои колени.

Я знала трагедию Айседоры Дункан. Ее дети, мальчик и девочка, погибли в Париже, в автомобильной катастрофе, много лет назад.

В дождливый день они ехали с гувернанткой в машине через Сену. Шофер затормозил на мосту, машину занесло на скользких торцах и перебросило через перила в реку. Никто не спасся.

Мальчик — Раймонд, был любимец Айседоры. Его портрет на знаменитой рекламе английского мыла Pears'a известен всему миру. Белокурый голый младенец улыбается, весь в мыльной пене. Говорили, что он похож на Никиту, но в какой мере он был похож на Никиту, знать могла одна Айседора. И она это узнала, бедная.

В этот год Горький жил в Берлине.

— Зовите меня на Есенина, — сказал он однажды, — интересует меня этот человек.

Было решено устроить завтрак в пансионе Фишера, где мы снимали две большие меблированные комнаты. В угловой с балконом на Курфюрстендам накрыли длинный стол по диагонали. Приглашены были Айседора, Есенин и Горький.

Айседора пришла, обтекаемая многочисленными шарфами пепельных тонов, с огненным куском шифона, перекинутым через плечо, как знамя. В этот раз она была спокойна, казалась усталой. Грима было меньше, и увядающее лицо, полное женственной прелести, напоминало прежнюю Дункан.

Три вещи беспокоили меня как хозяйку завтрака.

Первое — это, чтобы не выбежал из соседней комнаты Никита, запрятанный туда на целый день. Второе заключалось в том, что разговор у Есенина с Горьким, посаженных рядом, не налаживался. Я видела, Есенин робеет, как мальчик. Горький присматривался к нему. Третье беспокойство внушал сам хозяин завтрака, непредусмотрительно подливавший водку в стакан Айседоры — рюмок для этого напитка она не признавала. Следы этой хозяйской беспечности были налицо.

— За русски рэволюсс! — шумела Айседора, протягивая Алексею Максимовичу свой стакан. — Ecouter — (Слушайте. —

фр.), Горки! Я будет танцоват seulement (Только. — фр.) для русски рэволюсс. C'est beau (Это прекрасно. — фр.), русски рэволюсс!

Алексей Максимович чокался и хмурился. Я видела, что ему не по себе. Поглаживая усы, он нагнулся ко мне и сказал тихо:

— Эта пожилая барыня расхваливает революцию, как театрал удачную премьеру. Это она зря.

Помолчав, он добавил:

— А глаза у барыни хороши. Талантливые глаза.

Так шумно и сумбурно проходил завтрак. После кофе, встав из-за стола, Горький попросил Есенина прочесть последнее, написанное им.

Есенин читал хорошо, но, пожалуй, слишком стараясь, без внутреннего покоя. Горькому стихи понравились, я это видела.

Они разговорились. Я глядела с волнением на них, стоящих в нише окна. Как они были непохожи! Один — продвигался вперед, закаленный, уверенный в цели, другой — шел, как слепой, на ощупь, спотыкаясь, — растревоженный и неблагополучный.

Позднее пришел поэт Кусиков, кабацкий человек в черкеске, с гитарой. Его никто не звал, но он, как тень, всюду следовал за Есениным в Берлине.

Айседора пожелала танцевать. Она сбросила добрую половину своих шарфов, оставила два на груди, один на животе, красный — накрутила на голую руку, как флаг, и, высоко вскидывая колени, запрокинув голову, побежала по комнате в круг. Кусиков нащипывал на гитаре "Интернационал". Ударяя руками в воображаемый бубен, она кружилась по комнате, отяжелевшая, хмельная Менада!

Зрители жались к стенкам. Есенин опустил голову, словно был в чем-то виноват. Мне было тяжело. Я вспоминала ее вдохновенную пляску в Петербурге пятнадцать лет назад. Божественная Айседора! За что так мстило время этой гениальной и нелепой женщине?

Айседора и Есенин занимали две большие комнаты в отеле "Adlon" на Unter den Linden. Они жили широко, располагая, по-видимому, как раз тем количеством денег, какое дает возможность пренебрежительного к ним отношения. Дункан только что заложила свой дом в окрестностях Лондона и вела переговоры о продаже дома в Париже. Путешествие по Европе в пятиместном "бьюике", задуманное еще в Москве, совместно с Есениным требовало денег, тем более, что Айседору сопровождал секретарь-француз, а за Есениным увязался поэт Кусиков. Автомобиль был единственный способ передвижения, который признавала Дункан. Железнодорожный вагон вызывал в ней

брезгливое содрогание… Айседора вообще была женщина со странностями. Несомненно, умная, по особенному, своеобразно, с претенциозным уклоном удивить, ошарашить собеседника. Эту черту словесного озорства я наблюдала позднее у другого ее соотечественника Бернарда Шоу.

Айседора, например, утверждала: большинство общественных бедствий происходит оттого, что люди не умеют двигаться. Они делают много лишних и неверных движений. Неверный жест влечет за собой неверное действие.

Мысли эти она развивала в форме забавных афоризмов, словно поддразнивала собеседника. Узнав, что я пишу, она усмехнулась недоверчиво:

— Есть ли у вас любовник, по крайней мере? Чтобы писать стихи, нужен любовник.

Отношение Дункан ко всему русскому было подозрительно восторженным. Порой казалось: эта пресыщенная, утомленная славой женщина не воспринимает ли и Россию, и революцию, и любовь Есенина, как злой аперитив, как огненную приправу к последнему блюду на жизненном пиру?

Ей было лет 45. Она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства.

Однажды ночью к нам ворвался Кусиков, попросил взаймы сто марок и сообщил, что Есенин сбежал от Айседоры.

— Окопались в пансиончике на Уландштрассе, — сказал он весело, — Айседора не найдет. Тишина, уют. Выпиваем, стихи пишем. Вы, смотрите, не выдавайте нас.

Но Айседора села в машину и объехала за три дня все пансионы Шарлоттенбурга и Курфюрстендама. На четвертую ночь она ворвалась, как амазонка, с хлыстом в руке в тихий семейный пансион на Уландштрассе. Все спали. Один Есенин, в пижаме, сидя за бутылкой пива в столовой, играл с Кусиковым в шашки. Вокруг них в тесноте буфетов, на кронштейнах, убранных кружевами, мирно сияли кофейники и сервизы, громоздились хрустали, вазочки и пивные кружки. Висели деревянные утки вниз головами. Солидно тикали часы. Тишина и уют, вместе с ароматом сигар и кофе, обволакивали это буржуазное немецкое гнездо, как надежная дымовая завеса, от бурь и непогод за окном.

Но буря ворвалась и сюда в образе Айседоры. Увидя ее, Есенин молча попятился и скрылся в темном коридоре. Кусиков побежал будить хозяйку, а в столовой начался погром. Айседора носилась по комнате в красном хитоне, как демон разрушения. Распахнув буфет, она вывалила на пол все, что было в нем. От

ударов ее хлыста летели вазочки с кронштейнов, рушились полки с сервизами. Сорвались деревянные утки со стен, закачались, зазвенели хрустали на люстре. Айседора бушевала до тех пор, пока бить стало нечего. Тогда, перешагнув через груды горшков и осколков, она прошла в коридор и за гардеробом нашла Есенина.

— Quittez cette bordele immediatement (Покиньте немедленно этот публичный дом… и следуйте за мной. — фр.), — сказала она ему спокойно, — et suivez moi.

Есенин надел цилиндр, накинул пальто поверх пижамы и молча пошел за ней. Кусиков остался в залог и для подписания пансионного счета.

Этот счет, присланный через два дня в отель Айседоре, был страшен".

С большими трудностями Айседора столкнулась при получении виз в Англию, Францию и другие страны. Они возникли в связи с ее браком с молодым советским поэтом. Ей не отказывали во въезде в эти страны, но приходилось ждать завершения необходимых формальностей, что сильно нервировало ее, великую артистку, привыкшую к тому, что ее беспрепятственно принимал весь мир. Ее единственной мечтой было танцевать во всех этих странах, включая Америку, а когда соберется достаточная сумма, вернуться и работать в России с детьми.

В июле 1922 г . Айседора и ее муж получили официальное уведомление, что во Францию их впустят только в том случае, если они не будут проводить красной пропаганды, и что полиция получила предписание держать их во время визита под строгим надзором. Айседора снова заявила, что не имеет никакого отношения к политике, что она просто хочет организовать в "Трокадеро" выступления и заработать деньги на свою школу в Москве.

29 июля Айседора прибыла из Брюсселя в Париж. Она и Сергей провели два очень счастливых месяца в Париже, совершая поездки в Италию и другие места, и все это для ознакомления Сергея с миром. Много времени и сил положила она на организацию перевода и публикацию стихов Есенина. Всюду в их честь устраивались приемы, и она была счастлива, как школьница. Сергей вел себя ангельски и интересовался только своими стихами и работой.

Американский менеджер Айседоры Сол Юрок вел с 1921 года с ней переговоры о том, чтобы привезти в Америку ее русскую школу, в которой в то время было 25 детей. Но в те годы существовало предубеждение против России, и ему стоило

больших трудов добиться у американского правительства разрешения на их приезд. А когда, в конце концов, разрешение было получено, советское правительство запретило им выезжать, заявив, что ученицы слишком малы, — ведь некоторым из них было лет 10—12.

В воскресное утро в октябре 1922 года Айседора и ее муж в сопровождении нескольких русских секретарей прибыли из Гавра в Америку на лайнере “Париж”. Они ожидали, что их встретит большой комитет, но оказалось, что комитет состоит из единственного члена — менеджера Айседоры, который встретил их в сопровождении огромной армии фотографов и репортеров. Все набились в ее каюту, где, к их общему удивлению, иммиграционный инспектор сообщил Айседоре, что всей группе придется остаться на ночь на борту “Парижа”, где будет произведен досмотр, а утром их перевезут на остров Эллис для встречи с представителем специального бюро расследования. Никаких объяснений о причине ее задержания дано не было, но подразумевалось, что инструкции поступили из Вашингтона из-за просоветских взглядов Айседоры.

На следующий день, после двух часов пребывания Айседоры и ее спутников на острове Эллис, иммиграционные власти отпустили их. При этом официально заявили, что задерживали по указанию министерства юстиции по причине ее долгого пребывания в России и из-за слухов о ее связях с Советами. Айседору подозревали в том, что ее использовали в качестве дружественного курьера Советского правительства для доставки бумаг в Америку.

Уполномоченный по делам иммиграции на острове Эллис Роберт Тод заявил:

— Боюсь, что не могу предъявить вам какого-либо определенного обвинения, даже если таковое и было. И если оно действительно имелось, то недостаточно обоснованное.

Помощник уполномоченного Лэндис, председательствовавший во время разбора дела, сказал, что обвинения были необоснованные.

Три выступления Айседоры в Нью-Йорке прошли с колоссальным успехом. Билеты были проданы заранее, а люди требовали еще. Выступления проходили в “Карнеги-холл”, и Айседора, окрыленная славой, танцевала в сопровождении великолепного Русского симфонического оркестра под управлением Натана Франко.

Популярность Айседоры была огромной, успехи великолепными, а она вся кипела огромной любовью к России. Куда бы она ни пошла, вокруг нее тут же собирались толпы

репортеров, и она говорила им одно и то же:

— Коммунизм — единственное будущее мира!

А Есенин, взбудораженный большой дозой шампанского, собирал большую группу вокруг себя и разражался огненными речами о своей родине.

Ее последнее выступление в Бруклине тоже было сенсационным. Казалось, в Айседору вселился демон, и чем дольше она танцевала, тем больший экстаз ее охватывал. Она пребывала в полной власти своего искусства и не заметила, как костюм ее постепенно сползал с плеча, — да на такие вещи она вообще мало обращала внимания. Публика была возбуждена до предела и вызывала на “бис”.

Пианист Макс Рабинович, боясь, что Айседора может бог знает что сделать в охватившем ее экстазе, тихо ретировался.

Айседора нисколько не смутилась и, вместо того чтобы продолжать танцевать, разразилась полной энтузиазма речью, высказав все, что у нее накипело. Как позже выяснилось, кто-то прислал ей бутылку плохого шампанского — Айседора всегда выпивала бокал шампанского в антракте и всегда требовала, чтобы дирижер и менеджер пили с ней, — и все, кроме нее, сильно отравились. Ничто не могло погасить вдохновения Айседоры, и она танцевала с еще большим, чем всегда энтузиазмом.

Во время гастролей Айседоры в Америке начало, к сожалению, проявляться безумство Есенина. Он увидел, что Америка встретила его не так, как он ожидал, и почему-то грубо обвинял в этом Айседору, оскорбляя ее и страну по любому поводу. В газетах более или менее преувеличенно описывались многочисленные скандалы, но правды в этих заметках было достаточно, чтобы сделать жизнь супругов Есениных почти немыслимой.

Примерно в это время в честь Есенина был организован вечер еврейских поэтов, выходцев из России. Было очень торжественно, звучало много речей, но в разгар вечера Сергей не придумал ничего лучшего, как оскорбить присутствующих и начать ломать все, что под руку попадало. Впоследствии они требовали его депортации, и только мольбы Айседоры удержали их от официальных действий.

Есенин покупал много из того, что видел. И это совсем истощило счет Айседоры, и они оказались без гроша. Столько портных стучали в их двери в течение дня, грозя засадить их в тюрьму, что это отравляло жизнь Айседоры.

В отеле “Бревурт”, когда пришли попрощаться с Айседорой, Есенин лежал связанный после того, как порушил все в квартире

пригласившего его поэта, и единственно, чего боялась Айседора, это что он найдет револьвер.

Айседора упаковывала вещи — выехать из отеля казалось разумным делом. В этот момент дверь медленно отворилась и на пороге появился Есенин. Он каким-то образом освободился от пут. Глаза его были безумными, он размахивал револьвером. На мгновение все растерялись, однако удалось отвлечь его внимание разговором о вечере, где он читал стихи и казался счастливым.

Айседора решила, что пора отвезти ее Есенина назад в Россию, но выяснилось, что у них нет ни гроша. Она надеялась вернуться в Москву с деньгами, а вынуждена была просить друзей одолжить ей деньги на билеты.

На пароходе Сергей не был трезвым ни минуты. Они прибыли на пароходе “Джордж Вашингтон” в Шербур 12 февраля 1923 года без гроша в кармане.

Мэри Дести, подруга Дункан, рассказывает о ее и Есенина приезде в Париж, в 1923 году:

“Я жила себе тихо в Лондоне, когда однажды, как гром среди ясного неба, получила телеграмму: “Если хочешь спасти мне жизнь и не дать сойти с ума, встречай меня в Париже, прибываю на пароходе “Джордж Вашингтон”. С любовью, Айседора”.

Я собрала, сколько могла денег и, опасаясь самого худшего, немедленно выехала в Париж. Прибыв рано утром, отправилась в “Гранд Отель” и заказала самый скромный номер.

Поезд пришел в 8.30, и почти первой с него сошла величественная и великолепная Айседора. Она обняла меня, без конца повторяя:

— Мэри, Мэри, о Мэри, наконец-то ты приехала спасти меня. Я знала, что ты приедешь. Не старайся понять что-нибудь. Я потом объясню. Но что бы ты ни делала, забудь, что я великая актриса. Я просто приятный, интеллигентный человек, ценящий гений великого Сергея Есенина. Он — художник, он — великий поэт.

Естественно, услышав это, я рассмеялась.

— Нет, нет, Мэри, ради всего святого, будь серьезной и делай, что я прошу, иначе мы пропадем. Уверяю тебя, ты позже все поймешь.

— Ладно, голубчик, — ответила я, — показывай этого необыкновенного гения. Где он?

— Минуточку, — ответила Айседора, — терпение. Русского торопить нельзя. Его вытаскивают.

— Он что, болен? — спросила я.

— Не совсем, — ответила Айседора. — Но он не хочет выходить из вагона. Не забывай, что он великий, величайший

гений. Проводники уговаривают его выйти. — Айседора пыталась сохранить серьезность, и тут произошло совершенно невероятное. Появились четыре проводника, тащившие что-то, напоминающее огромную охапку элегантных мехов. Они поставили на ноги этот предмет, оказавшийся мужчиной в высоченной меховой шапке, благодаря которой он казался очень высоким и свирепым.

— Сергей, это моя любимая подруга. Это Мэри, — сказала Айседора.

— А, Мэри, Мэри, — донеслось из мехов, и меня подняли как дитя, сжали в железных тисках русских объятий, повторяя: — Сестра моя, Мэри, Мэри, — и еще много чего-то по-русски, чего я не поняла. Я обнаружила также, что у мехов два моргающих маленьких глаза, вспыхивающих огнем.

Айседора сияла от счастья, потому что никогда не могла предугадать, как Сергей воспримет того или другого, а теперь успокоилась, что сцены не будет. Портье из отеля “Крийон”, оказавшийся на нашем пути первым, отвез нас в этот один из самых дорогих отелей Парижа. Айседору, прежде одну из его почетнейших гостей, приняли с большой помпой. Но она отказалась от роскошного номера, который занимала раньше, и остановила свой выбор на двух прелестных соседних номерах, заявив, что один для меня. Я сказала ей, что уже сняла номер в другом отеле, но Айседора заявила, что теперь мы никогда не расстанемся. Служанка, сопровождавшая ее, занялась багажом. Ей дали комнату недалеко от нас на том же этаже.

Айседора заказала восхитительный обед с легким вином. Это удивило меня, потому что она всегда пила шампанское.

Сергей захрипел:

— Шампанского, шампанского!

Но Айседора твердо отказалась его заказывать. Последовал бурный спор на какой-то смеси русского и английского языков, но большую часть того, что говорила Айседора, я поняла, потому что это было все-таки похоже на английский.

Сергей настаивал:

— Шампанского — в честь Мэри! — но Айседора ответила, что я терпеть не могу шампанского (Какой обман!).

Айседора сменила свой невообразимый дорожный туалет а ля рюс на прелестное обтягивающее платье, ее маленькую царственную головку обвил шелк изумительных цветов радуги.

Сергей, держа в руке небольшой портфельчик, с которым, по словам Айседоры, он никогда не расставался, направился в мою комнату и запер его там в гардеробе.

Это очень позабавило Айседору. Она прошептала:

— Мэри, ты будешь от него в восторге. Он как дитя. В

портфельчике у него какие-то игрушки, и он охраняет их, как священные реликвии.

— Может, это деньги, — сказала я, потому что была немного практичнее.

— Мэри, ты в жизни ничего смешнее не говорила. Милая, у нас нет ни гроша, и если бы не Лоэнгрин, то мы все еще сидели бы в порту в Нью-Йорке. Он оплатил наш проезд и дал еще немного денег, которые, кстати, у Сергея в кармане.

— Но ты же хорошо заработала во время американского турне.

— О да, массу денег, но я не знаю, куда они ушли. Знаю только, что в последние две недели нам еле хватало заплатить за отель и еду. Мне-то все равно, но было неприятно, что у Сергея сложится мерзкое впечатление об Америке. Это страшный удар для художника. Дело в том, что он совершенно ничего не понимает в деньгах.

Наконец обед подали. Какой же он был веселый и радостный! Сергей читал свои стихи и действительно был похож на молодого бога с Олимпа — оживший, танцующий фавн Донателло. Он ни секунды не сидел на месте, часто убегал куда-то, в экстазе бросался на колени перед Айседорой и, как усталый ребенок, клал свою кудрявую голову на ее колени. А ее прелестные руки ласкали его, и из глаз струился свет, как у Мадонны.

— О, как я счастлива, Мэри! Посмотри, как он прекрасен! Если ты останешься с нами и никогда нас не бросишь, как великолепно мы заживем в Париже! Обещай, Мэри, не расставаться со мной.

Через каждые несколько минут Сергей убегал то за сигаретами, то за спичками, хотя Айседора говорила ему, что официант принесет все, что нужно. Я заметила, что с каждым возвращением он бледнел все сильнее, а Айседора нервничала все больше. В последний раз он довольно долго не появлялся, и Айседора вызвала звонком свою служанку.

Служанка рассказала, что он несколько раз заходил к ней в комнату и заказывал шампанское, но теперь куда-то ушел. Лицо у Айседоры стало таким грустным, что сердце мое просто разрывалось. Она бросилась на кровать и поведала мне о своем путешествии и впечатлениях от Америки, о том, как ее принимали, и т. д. Она рассказывала так, как это умела делать только она, — с изяществом и остроумно. Часто бывая с ней вместе по несколько недель и даже месяцев, я оставалась с ней наедине, но даже на секунду мне не становилось скучно. Ей всегда было о чем рассказать, и простейший эпизод превращался у нее в захватывающую историю, которую бы слушала и слушала.

— Мэри, теперь я могу сказать тебе правду. Сергей немножко эксцентричен, и чем дольше он отсутствует, тем эксцентричнее становится. Если он вскоре не появится, то нам лучше уйти в другое место в отеле, где он нас не сможет найти.

— Господи, Айседора, ты что? Я не верю, что он посмеет тронуть тебя.

— Видишь ли, это одна из его эксцентричностей, — ответила она. — Но поверь мне, он это не со зла. Когда он пьет, то совсем теряет рассудок и считает меня своим самым большим врагом. Я не против того, чтобы он пил. Иногда я удивляюсь, почему все не пьют, живя в этом ужасном мире. Русские ничего не делают наполовину, если уж они пьют, так пьют. По мне, пусть он переломает все в городе, если это доставляет ему удовольствие, но я не хочу, чтобы сломали меня.

Сама мысль о том, что кто-то может причинить Айседоре боль, наполняла меня ужасом. Я не могла понять, поверить ее словам.

— Ну почему, почему ты терпишь это? — спросила я.

— Мэри, родная, не могу объяснить. Это заняло бы слишком много времени. Но и потому, что в этом есть что-то, что мне нравится, где-то глубоко, глубоко в душе. Ты заметила, как Сергей похож на одного человека, которого ты когда-то знала? — А затем жалобно: — А, все равно, может, это только мое воображение. Я тебе позже обо всем расскажу. Если Сергей не вернется к двенадцати, боюсь, Мэри, нам действительно придется спрятаться.

— Но это же ужасно, Айседора! Быстро одевайся и поедем ко мне в отель.

— Да, я оденусь, но, пока не увижу, что с Сергеем, не уеду.

Она медленно переоделась в уличный костюм, а я торопила ее, в ужасе от того, что услышала. Вдруг силы покинули Айседору. Она попросила меня принести ей бренди из ее дорожной сумки и легла на кровать бледная как смерть.

— Айседора! — сказала я решительно. — Или едем ко мне, или разразится страшный скандал: если он попытается ударить или оскорбить тебя, я за себя не отвечаю. Я бы не вынесла такого. Поедем немедленно!

— О Мэри, так будет хуже. Я не перенесу, если с его золотой головы упадет хоть один волосок. Разве ты не видишь сходства? Он просто копия маленького Патрика. Патрик был бы таким. Как же я могу позволить, чтобы с Сережей что-нибудь случилось? Нет, ты должна мне помочь спасти его, доставить в Россию. Там ему будет хорошо. Он великий гений, великий поэт, а в России знают, как обращаться со своими художниками.

— Поговорим об этом завтра, Айседора, а сейчас поедем со мной.

— Нет, не могу уехать, пока не услышу, что он вернулся. Я по голосу узнаю, в каком он состоянии.

Не успела она это сказать, как из холла раздался невероятный шум, будто туда въехал отряд казаков на лошадях. Айседора вскочила. Я схватила ее за руку, затащила к себе в комнату и заперла дверь на ключ. А когда Сергей начал колотить в дверь, я потащила Айседору в холл, и мы помчались вниз по лестнице, как злые духи. В дверях Айседора задержалась, чтобы сказать портье, что муж ее болен, и попросила присмотреть за ним, пока мы не привезем доктора, и быть с ним "очень, очень деликатным, потому что он совсем болен". Портье уверил, что все сделает.

Мы вскочили в такси. Айседора настояла на том, чтобы найти врача, по возможности русского. Но того, кого мы хотели пригласить, не было в городе, и Айседора поехала со мной в "Гранд Отель". Вид у нее был измученный. Здесь нас ждал другой сюрприз. Не успели мы подняться в номер, как портье стал стучать в дверь, заявляя, что комната снята на одного человека и второму быть в ней не разрешается. Я старалась тихо, чтобы Айседора не слышала грубияна, отправить его, сказав, что моя подруга больна. Но он продолжал кричать. Тогда я приказала ему прислать ночного администратора, которому все объяснила.

Айседора позвонила в "Крийон" и услышала от служанки, что в номер вломились шестеро полицейских и забрали месье в полицию, после того как он пригрозил убить их и переломал в комнате всю мебель, высадил туалетный столик и кушетку в окно. Он пытался выломать дверь между нашими номерами, думая, что Айседора в комнате, избил портье отеля, который пытался его утихомирить. К счастью, револьвер был в портфеле в моей комнате.

Айседора была близка к обмороку. "Что делать, Мэри? У меня нет ни цента. Последние деньги из тех, что Лоэнгрин нам прислал, у Сергея, но и это всего лишь несколько долларов".

Она решила снова поискать доктора, и мы нашли его в отеле "Маджестик". По дороге в полицейский участок Айседора рассказала врачу, как у Сергея случаются припадки. Пока врач осматривал Сергея, тот бесновался и требовал свой портфель, крича, что в нем его стихи.

Врач заявил, что Сергей болен и очень опасен, что его ни под каким предлогом нельзя отпускать. Это был сокрушительный удар для Айседоры. Мы вернулись в отель "Крийон" в четыре утра почти мертвые.

Отель был взбудоражен. Рассказывали, что несколько постояльцев выбежали в ночном белье, думая что снова началась война и что отель бомбят. Это было слишком для чувства юмора Айседоры: она начала истерически хохотать при мысли, что молодой русский большевик (я очень сомневаюсь, были ли у него какие-либо политические убеждения) до смерти перепугал мирно отдыхающих американских гостей. Ее смех, однако, покоробил управляющего отелем, который поначалу проявлял к ней большое сочувствие, а теперь разозлился, но вежливо потребовал, чтобы она уплатила за ущерб, и сказал, что был бы очень обязан, если бы она нашла другой отель. И на самом деле, в комнатах жить было нельзя: кровати сломаны, пружины валялись на полу, простыни порваны в клочья, зеркала и стекла разбиты на мелкие осколки — действительно, было похоже, что в дом попала бомба.

Я отвела управляющего в сторону и сказала: мисс Дункан смеется не над случившимся, у нее истерика. Это его немного охладило. Я обещала, что мы выедем рано утром и за все заплатим. Он согласился при условии, что Есенин в отель не вернется. Мы уверили его, что в этом отношении нет ни малейшей опасности.

Придя в номер, Айседора глотнула бренди и спросила, что же делать. Но тут же решительно заявила, что никогда не позволит засадить Сергея в сумасшедший дом, даже под страхом быть им убитой.

Открыв гардероб, мы увидели портфель. В участке полицейский отдал ей ключи Сергея, но по свойственной этому прелестному созданию щепетильности, кстати, одной из главных черт характера Айседоры, она долго колебалась, не желая заглядывать в его личные вещи. Я сказала, что там могут быть деньги, но она ответила, что этого не может быть, потому что у него их нет.

Наконец она открыла портфель. К ее изумлению, он был полон американских денег — мелкими купюрами и даже серебром, всего около двух тысяч долларов.

— Господи, Мэри, неужели я вскормила змею на своей груди? Нет, не верю, бедный Сережа. Я уверена, что он и сам не знал, что делал. У него никогда не было много денег, и при виде того, что я щедро трачу их, его крестьянская натура взяла в нем верх, и он бессознательно решил часть их сохранить. Скорее всего для тех, кому они нужны на его родине. (Так впоследствии и оказалось, когда он бросался деньгами с еще большей щедростью, чем Айседора.) — Подумать только, у него были деньги, а меня с ума сводил портной, угрожавший арестом, если я не оплачу счет за два костюма Сергея.

Да, действительно, это было слишком. Я позвала управляющего. Мы оплатили нанесенный ущерб и уехали из отеля, забрав с собой багаж Айседоры. Чемоданы Сергея мы оставили, увидев в них не только десятки костюмов, рубашек и пар белья, но и половину туалетов Айседоры, которые, как она думала, где-то потеряла.

Мы переехали в отель “Резервуар” в Версале. Там Айседора слегла с высокой температурой. Врач, обследовавший Сергея вторично, приехал к ней, чтобы узнать, согласна ли она поместить его в лечебное учреждение. Но полиция намеревалась выпустить его только при условии, что он немедленно покинет страну. Мы купили два билета, и Сергей в сопровождении служанки уехал в Берлин, где у него было много друзей и где находилось представительство Советского правительства. Но пока поезд не увез его, Айседора жила в страхе. Сергей получил все свои чемоданы и портфель, в котором оставалось денег только на дорогу до Берлина”.

Из Парижа Айседора и Мэри отправились в Берлин на машине к Есенину.

Когда они подъехали к отелю “Адлон” в Берлине, Сергей одним прыжком влетел в машину через голову шофера — верх машины был опущен, и очутился в объятиях Айседоры.

Несколько берлинцев обступили автомобиль, наблюдая эту сцену, но Айседора не замечала ни улицы, ни людей. Она видела только, что Сергей жив и здоров. Вот он собственной персоной с развевающимися при свете золотыми кудрями. Прыгая, он бросил свою шапку. Зачем ему теперь шапка? Его любовь, его Айседора здесь — прочь, шапка. Он мог бы тут же сбросить и пальто и башмаки.

Это не было позой: оба эти экзальтированные существа действительно забыли об окружающих. В конце концов, полиция разогнала зевак, и после некоторых усилий они уговорили своих обожателей выйти из машины. Однако добиться вразумительного ответа на вопрос, в какой отель ехать и вообще сняли ли им комнаты, нам так и не удалось.

В отчаянии Мэри решила попытаться устроиться в отель, перед которым стояли, но слухи о парижских злоключениях летели быстрее их и уже достигли ушей управляющего. Поэтому, когда он увидел Айседору в объятиях ее златокудрого поэта, он сказал, что к его большому сожалению, у них не осталось в отеле даже малюсенькой комнатки. Им пришлось ретироваться и погрузиться в машину, которую шофер старался спрятать от любопытных глаз, отъехав на несколько шагов от ярко освещенного входа в отель.

Они двинулись дальше, к отелю “Палас”. В нем другой русский поэт, большой приятель Сергея “в высоких сапогах, галифе, великолепной красной черкеске, подпоясанный по тонкой талии серебряным кушаком, и в высокой кубанке пошел с Мэри в холл. Она шествовала впереди него, как будто это был ее гид, секретарь. Она спросила, забронирован ли номер для мисс Айседоры Дункан, о котором телеграфировали, и с чрезвычайной учтивостью и вежливостью управляющий ответил, что в отеле не получали телеграмму. Мэри это не удивило, ведь телеграмму и не посылали.

Тем не менее, для мисс Дункан номер нашелся, хотя для этого управляющему пришлось отказать тридцати претендентам.

В этот момент в холл вошли Айседора с Сергеем, за ними шофер и несколько портье, несущих багаж. Айседора и Сергей не сомневались, что раз они тут, то комнаты найдутся.

Еще несколько русских, все с музыкальными инструментами, гурьбой бросились вверх по лестнице, пока мы поднимались на лифте. На вежливо улыбающемся лице управляющего появилось выражение крайнего удивления и некоторой растерянности, когда он увидел это неожиданное дополнение к группе.

Когда их ввели в королевский номер, управляющий спросил, сколько комнат требуется. Айседора царственным жестом обвела всю компанию.

— Комнаты на всех, — сказала она. — Это со мной.

Охнув, Мэри подумала об оставшихся у них нескольких тысячах франков. В пути они слышали странные вещи — что за несколько франков дают тысячи марок, и считали, что сможем на эти деньги долго прожить. И действительно, к концу путешествия они получали за несколько франков миллионы марок, но, к сожалению, на эти миллионы очень мало что можно было купить.

— Куше, куше, — кричал Сергей.

— Да, да, куше, куше, — вторила ему Айседора.

Гостей развели по разным комнатам вымыться и переодеться, а в это время Есенин лихорадочно названивал нескольким русским — тем, кто еще не слышал о нашем приезде и кому не понравилось бы упустить пир. Радости обильного стола не были повседневными у русской колонии артистов и художников в Берлине.

Пришли все и даже несколько человек, которых никто не знал. Как в сказке, в середине большого салона был накрыт стол. В распоряжении гостей были и большой и малый салоны, в которых стояло много легко бьющихся вещей.

Айседора решила, что вечер должен быть русским, с русским столом и напитками. Так оно и произошло. Сервировочные столы

были уставлены русскими закусками — отборными деликатесами. А обычай — Айседора на нем настаивала — каждому выпить по три рюмки водки, одну за другой, перед закусками многих почти доконал. Русские, у кого были балалайки, играли и пели, все остальные подпевали.

Подали обед, и гости съели столько, сколько хватило бы, чтобы несколько недель кормить полк. Но это была только запевка к настоящему пиру.

Айседора вышла из своей комнаты, как радуга, прекраснее, чем когда-либо раньше. Она излучала счастье. Сергей встал перед ней на колени, по его лицу текли слезы, он осыпал ее тысячами прекрасных нежных ласковых русских слов. Вся компания тоже встала перед Айседорой на колени и стала целовать ей руки. Было очень трогательно. Как счастливы они были! Группа беззаботных, бездомных людей — да понимали ли они, что произошло и что вообще происходит в мире? Было ли до этого им дело, этим людям без родины?

Сергей был доволен, потому что, склоняясь перед Айседорой, они падали ниц перед ним, их поэтом, их Есениным, их Сергеем. О да, уж в этом они толк понимали, а если он хотел оставаться “скандалистом” и “хулиганом”, кем он, конечно, был, то почему бы и нет? У гения есть привилегии, он может делать что хочет. Как смеют простые смертные указывать, что отмеченным богом делать и как себя вести?

Суп, рыба, пожарские котлеты и прочие блюда следовали одно за другим с соответствующими винами. Несколько гостей уже начали сползать со стульев, когда Сергей встал, чтобы продекламировать одно из своих стихотворений. Когда он заговорил, похоже, что через всех прошел электрический разряд. Сергей вскочил на стол, и всех, увлекли сила и пафос его голоса и стиха.

Ему было только двадцать семь лет.

После стихов Айседора с Сергеем сплясали русского, а все хлопали им в такт. Советский представитель, сидевший во главе стола, к этому времени начал клевать носом и покачиваться. Казалось, ему было трудно сидеть на диване: и он, и диван были чересчур набиты, и каждый раз, когда представитель сползал на пол, все кидались сажать его обратно.

Все шло великолепно, хотя и шумно, до тех пор, пока Айседора не подслушала оживленный разговор между Сергеем и другим поэтом об Анне. Они произносили “она”, но русский язык Айседоры был далек от совершенства, и она подумала, что говорят о какой-то новой любви Сергея, которой, как ей казалось, другой поэт дразнил Сергея. Она обругала этого поэта, сказала,

что все знает об Анне. Это вызвало у Сергея жесточайший припадок ярости. Что тут началось!

Айседора помимо того, что пила наравне с Сергеем, была очень ревнива.

В ход пошли вещи. Сергей всегда бросал все, что попадалось ему под руку, неважно что и в кого. К несчастью для достоинства страны, первая же тарелка с рыбой попала в голову ее представителя, который на этот раз — еще не соскользнул с дивана. Ничего серьезного, но достаточно, чтобы его раздосадовать. Мэри проявила невоспитанность и расхохоталась, что имело печальные последствия: когда она захотела сопровождать Айседору в Россию, то не получила визы.

Не успели гости оглянуться, как в комнате не осталось ни одной целой вещи. А Сергей уже начал говорить гадости Айседоре. Трое или четверо из его приятелей пытались его удержать. С таким же успехом они могли пытаться остановить волны в океане, ибо в момент приступов Сергей становился невероятно сильным. Впоследствии Мэри видела много подобных сцен, и все они начинались одинаково. Он сидел за столом, ел и спокойно разговаривал, как вдруг неожиданно лицо его смертельно бледнело, зрачки голубых глаз расширялись, пока весь глаз не превращался в горящий черный уголек, внушающий ужас. Если удавалось быстро отвлечь Сергея, для чего надо было проявить большую храбрость, можно было предотвратить кризис, попросив спеть. Десятки раз эта уловка срабатывала, но успокаивался Сергей лишь ненадолго, и очень скоро приступ разражался снова. Однако оттяжка часто давала Айседоре возможность скрыться из опасного места или уйти совсем, но подходящим моментом надо было быстро воспользоваться, потому что первым делом Сергей запирал на ключ все двери и прятал ключи в карман. Так он сделал и в вечер русского обеда, и настолько ловко, что все оказались в западне до того, как поняли, что случилось.

Сильных, быстрых молодых русских он расшвыривал по комнате, как мячики, или так, как шторм разбрасывает багаж на борту судна. Сначала Айседора наслаждалась этим диким зрелищем. Что нашло на нежную, застенчивую Айседору? Россия, изменила ее, изменила ее характер. Если бы Сергей не набрасывался на нее, она ничего не имела бы против этих выходок, потому что они отвечали чудовищным внутренним мукам, которые она непрерывно испытывала. Его приступы оказывали на нее такое же умиротворяющее воздействие, как сумасшедшая гонка на машине или полет в самолете, казалось, что полное пренебрежение ко всем условностям, которые на

протяжении всей жизни так грубо ее ломали, дает ей передышку от вечной печали.

Управляющий и портье отеля колотили в двери номера, но никто не обращал на это ни малейшего внимания. В конце концов, они ворвались к нам через ванную и открыли двери для всех. Униформа портье в какой-то мере привела в чувство Сергея, помнившего, что люди в униформе увели его в полицию несколько недель назад в Париже.

Управляющий был вне себя, ему пытались объяснить ему, что произошел несчастный случай. Постарались побыстрее выпроводить его, чтобы он не увидел, какой ущерб нанесен, но он увидел достаточно, судя по сумме предъявленного потом счета.

Никто не сделал ни малейшей попытки уйти, и Айседора с Сергеем, тихие, как ягнята, ушли к себе в комнату.

Мэри заперлась в комнате по другую сторону салона, а остальные, ели и пили до утра. Иногда к ним присоединялся Сергей, ведь он часто не спал по ночам, а слонялся с места на место до самого утра. А утром Айседора получила очень вежливую записку от администрации, в которой говорилось, что номер с этого дня сдан и не будет ли она так любезна освободить его к полудню. Несмотря на все объяснения с администрацией, пришлось выехать из отеля, но выбрались они только в пять часов дня, снова счастливые, в гармонии друг с другом и улыбающиеся.

Поехали в машине на большую прогулку, а по возвращении обосновались в другом отеле. Там уже собралась довольно большая группа русских поэтов и художников. Все были готовы начинать новый вечер. Представитель советского посольства не появился.

Снова было устроено большое веселье, и милый старый учитель музыки, которого накануне видели под столом спасающимся от летающих по комнате предметов, теперь весело играл на своей гавайской гитаре, пел и счастливо улыбался. Всем было весело, за коктейлями последовали закуски и водка. Принесли роскошный обед. Трудно было представить, как в немецких отелях доставали русские деликатесы, свежие продукты, которые нельзя было найти даже в России. В разгар обеда Сергей начал было петь, и они с Айседорой снова сплясали русского. Вдруг он отстранил ее, сказав, что только русские могут плясать этот танец. Он схватил одного парнишку, и они пошли плясать, подпрыгивая, как дьяволы, почти до потолка. Такая пляска имела бы повсюду большой успех. И тут снова у Сергея появились симптомы приступа ярости.

Айседора прошептала подруге:

— Мэри, милая, не пугайся тому, что я сделаю. Я собираюсь

вылечить его от всей этой ерунды. Помни, как бы странно я ни вела себя, какие бы номера ни откалывала, я притворяюсь.

Сначала так оно и было, но потом ее захватил вихрь буйства, и остановиться она уже не могла, даже когда захотела. Сергей начал оскорблять ее танец. Ему было все равно, с чего начать, и все перед ним тряслись и падали ниц. Айседора давала ему сдачи сполна, хотя на его стороне было преимущество: блеск и остроумие, понятные всем. Айседора же говорила на языке, который они не понимали. Поэтому она прибегла к более простому методу: снова и снова выкрикивала все ругательства и оскорбления, которые знала по-русски. А так как их было очень мало, она упоминала животных — свинью, собаку, корову и т. п.

Сначала это, благодаря забавному американскому акценту Айседоры, всех очень позабавило, даже Сергей визжал от смеха, и на какое-то время удалось избежать бури. Сергей перескочил через стол, заключил Айседору в объятия, бешено целуя ее глаза, волосы, руки, даже прекрасные ноги. Но, вспомнив, что она обозвала его какой-то там собакой, начал снова дебоширить.

Шампанского было выпито много. Сергей повел себя так ужасно, что перепугались даже его лучшие друзья. Когда на него это находило, ему было все равно, друг перед ним или враг. Он сдернул скатерть со стола, и в одно мгновение весь обед и блюда разлетелись в разные стороны, попав в гостей. Все стали поднимать тарелки и блюда на стол.

Айседора, подхватив тарелку со стола, запустила ее в картину на стене. Раздался страшный треск, который потряс Айседору больше, чем всех остальных. На мгновение Сергей, видимо, подумал, что это сделал он, но когда разбился графин в камине — словно выстрелили из пушки, он забеспокоился.

— Ух, до чего интересно, — воскликнула Айседора. — Если бы я знала, какое это удовольствие, я бы уже давно занималась этим вместе с тобой.

И тут начался такой ураган, что в комнате не осталось ничего целого.

Мэри пыталась унять Айседору, но она только подмигивала ей и шептала:

— Все в порядке, не пугайся. Я знаю, что делаю.

Она уже ничего не соображала и была в таком же состоянии, как и Сергей. Жуткое напряжение, в котором она находилась в результате его припадков уже более двух лет, начало сказываться на ее нервах. Она впала в истерику, не понимая, что делает, и не в силах контролировать свои поступки. Снова явились управляющий и портье отеля, и вдруг Сергей, хитренько взглянув, успокоился и потребовал, чтобы позвали доктора.

— Айседора больна! Доктора! Доктора! — повторял он. В конце концов, послали за врачом. Пришел очень милый доктор, который, несмотря на все протесты, сделал Айседоре укол. От этого укола она потом очень сильно заболела.

Мэри предложила сделать укол и Сергею, но этот хитрец вел себя в присутствии врача очень тихо и кротко.

Решительно выпроводив всех гостей, кроме двух больших приятелей Сергея, поэта и музыканта, Мэри попыталась закрыть дверь в комнату Айседоры, чтобы Сергей не входил к ней. Но он начал так скандалить, крича, что вызовет полицию и что я отравлю Айседору, что мне пришлось открыть дверь. Он настаивал на том, чтобы разбудить ее, и будил через каждые несколько минут всю ночь, а когда я вышла в салон за водой для Айседоры, он запер дверь на ключ и засов.

Мэри слышала, как Айседора умоляла оставить ее в покое и не тревожить. Наконец она не выдержала и, воспользовавшись его приемом, сказала:

— Если вы не откроете мне, я вызову полицию и велю взломать дверь.

Есенин открыл дверь, бросая в Мэри оскорбления, но не решаясь дотронуться.

Остаток ночи он просидел со своими приятелями. Они пели грустные народные песни и были бы очень довольны, если бы могли заказать еще шампанского, но это им не удалось.

Мэри заснула на кушетке в салоне, а около восьми утра Сергей бросился перед ней на колени, жалобно всхлипывая и объясняя на своем ломаном русско-английском языке, что Айседора исчезла, исчезла навсегда, видимо, покончила с собой.

Мэри заметалась по комнатам, коридорам, но нигде ее не было, пошла в свою комнату, послала за управляющим и спросила у него, не сняла ли мисс Дункан комнату на другом конце отеля, как она часто делала во время подобных сцен, боясь, что Сергей ее убьет. Ей сказали, что мисс Дункан в шесть утра уехала из отеля и велела передать, чтобы Мэри не пугалась. Это сообщение ее мало успокоило.

Мэри чувствовала, что должна убедить Айседору оставить Сергея. Но она знала, что та никогда его не оставит. Часов в одиннадцать служанка тайно передала записку, в которой Айседора умоляла собрать в сумку несколько предметов ее туалета и носильных вещей, но ни в коем случае не сообщать Сергею, где она.

Мэри сказала Сергею, чтобы он не беспокоился и перестал плакать, а плакал он непрерывно с утра, что она выйдет поискать Айседору, а ему лучше всего лечь спать. После припадков он был

похож на больного ребенка, и от его вида сердце болело от жалости.

Мэри взяла такси и поехала в Потсдам, где нашла Айседору в одном ресторане. Она только что заказала ланч. После ланча пошли искать отель. Айседора еле передвигала ноги и, казалось, пребывала в полубессознательном состоянии. Она спросила о Сергее и рассказала, что ночью он высказался невероятно грубо о ее детях, и ей пришлось уйти. Она выбежала из отеля, как безумная. Он может делать что угодно и говорить что угодно, но касаться открытой кровоточащей раны в ее сердце — это слишком. Сам он без конца говорил о своих троих детях: одном от первой жены, родившемся, когда ему еще не было восемнадцати, и о двух других — от второй, теперь мадам Мейерхольд, жены знаменитого режиссера, которому Сергей отдал ее вместе с двумя детьми.

Мэри умоляла Айседору вернуться в Париж и снова начать серьезно работать. Или немедленно возвратиться в Россию, в свою школу. Но Сергея она должна оставить. Она ответила, что это будет равносильно тому, что бросить больного ребенка, и она никогда этого не сделает. Она отвезет Сергея на его родину, где его понимают, любят за талант и будут к нему всегда добры.

Утром Айседора не могла устоять против желания позвонить Сергею. А он так каялся, что сердце ее не устояло. Она велела ему взять такси, захватить весь багаж и приехать с двумя друзьями. И пусть с ними приедет портье со счетом, который она тут же оплатит.

После оплаты этого счета денег у Айседоры почти не осталось.

Объяснили Сергею, что надо немедленно что-то предпринять. И когда он и его приятель-поэт заверили, что могут достать денег, сколько нужно, Айседора велела им сделать это, и, если можно, с условием, что она отдаст долг, как только вернется в Париж.

Айседора решила, что все должны поехать в Россию. Но сначала крайне необходимо съездить в Париж и сдать или продать ее дом на рю де ля Помп, распорядиться с мебелью и т. п. Затем забрать ее вещи и книги с собой в Москву, куда она решила уехать насовсем и где, несмотря на все трудности, она будет вести свою школу, а Сергей писать великолепные стихи.

Но как попасть в Париж, ведь Сергею въезд в него запрещен. Как получить визы по их красным русским паспортам? Но все это не страшно, сказала Айседора, Мэри все организует.

Сергей с приятелем взяли в долг четыре тысячи франков и решили, что замечательно будет поехать в Берлинский цыганский ресторан, где выступает великолепный русский цыган-певец,

который раньше всегда пел царю. Поездка эта состоялась вопреки совету и желанию Мэри.

Заранее оплатили авто, которое должно было довезти всех на следующее утро до Страсбурга. Оставалась тысячефранковая банкнота и мелочь. Мэри имела глупость отдать деньги Айседоре.

Поехали в цыганский ресторан и тихо пообедали. После закрытия ресторана, а закрывался он по полицейским правилам в 12 часов, всех пригласили в большую комнату позади зала, и весь цыганский хор собрался вокруг нас. Пели народные песни до трех утра, причем запевалой был Сергей.

Сергей говорил, что в ресторан пригласили, и поэтому все были очень удивлены, когда вручили счет на большую сумму марок. Айседора, никогда не споривша по поводу счетов, мягким жестом протянула тысячефранковый билет. Когда отсчитали сдачу, Сергей схватил деньги и пошел по кругу, разбрасывая сотни марок, но Мэри видела, как он запихал в карман своего пиджака большую пачку денег. Когда он танцевал с одной из цыганок, она, не говоря никому ни слова, кроме Айседоры, тихо вытащила эту пачку.

На следующее утро наша весьма разношерстная компания совершала автомобильное путешествие. Мэри и Айседора сидели на заднем сиденье, учитель музыки с Сергеем — на откидных местах, а другой поэт — с шофером впереди. Ехали на большой и открытой машине, и, казалось, весь багаж мира был нагружен на пассажиров и окружал их. Бедный музыкант просто утонул в чемоданах. Видны были только его жидкие длинные нечесаные волосы, закрывавшие почти все его лицо.

Поэт, все еще в красном казакине, высокой, отделанной мехом кубанке, несмотря на теплую погоду, и все остальные укрылись всякими пледами, одеялами и пальто, которые у Айседоры скопились за многие годы, — зрелище хоть куда. Погода стояла великолепная, ландшафт — захватывающий. В Лейпциг прибыли в час ночи без происшествий и скандалов, но когда разбуженный ночной дежурный фешенебельного отеля увидел нас, похожих на банду, входящих нетвердым шагом, он заколебался, давать ли нам комнаты. Никто не мог удержаться от смеха. Первым шел Сергей в своей огромной шубе, подбитой мехом, с меховым воротником. Вид у него был, как у медведя, с его диким взглядом; высокие сапоги, болтающийся на боку фотоаппарат и полевой бинокль, который он всегда носил с собой, — однажды он видел бинокль у англичанина. За ним шел музыкант, размахивая балалайкой, а так как ночь была холодная, он надел огромную русскую шубу Айседоры красного бархата на меху, которая тянулась за ним по полу, и из-под маленькой

ермолки развевались его жиденькие волосенки. Поэт тоже облачился в одну из Айседориных огромных русских шуб, немного поношенную и обтрепавшуюся, но все же шубу.

И для полноты этой пестрой картины — корзинка с вырезками из газет, просмотреть которые Айседора из-за отсутствия времени еще не успела после приезда из Америки, но которые всегда за собой таскала. В дороге корзинка раскрылась, и тысячи вырезок рассеялись по всему пути от Берлина до Лейпцига. Некоторые из них приклеились к шляпам, обуви и верхней одежде, так что все могли ими полюбоваться.

Комнаты, которые, в конце концов, дали, были далеко не лучшие.

На следующее утро все встали рано, и, не освободи Мэри Сергея от денег, оставшихся от тысячи франков, они бы так и не двинулись дальше. Но в тот момент, когда мы выходили из отеля, Сергей спохватился, что у него пропала пачка денег. Он заявил, что украли большую сумму, которую друзья дали ему, чтобы отдать их семьям по возвращении в Россию.

Однако вскоре мы уже снова были в пути и поздно ночью прибыли в тихий, старомодный Веймар. На следующий день, после еще одной ночи чудовищного скандала и неприятностей главным образом из-за “пропавших” денег — сумма к этому времени возросла, по словам Сергея до многих тысяч долларов, — посетили дома Гете и Листа.

В тот день Сергей вел себя прекрасно. Вся обстановка благотворно подействовала на него. Айседора тихонько сидела, улыбаясь, как ангел, довольная, что ее любимый балованный Сереженька счастлив.

Когда подъехали к Страсбургу, шофер предупредил, что не может приблизиться к границе, потому что французы конфискуют его машину. Но не могли же все идти пешком восемь или десять миль, ведь было уже восемь часов вечера, да к тому же никто не позаботился о визах. Поэтому шофер отвез всех назад в ближайший городок, где находились американский и французский консулы.

Французский консул знал Айседору; Сергея и поэта оставили в машине, а консулу объяснили, что Айседора везет своего мужа во Францию, чтобы проконсультироваться у специалиста. Из-за припадков не могли с ним справиться, поэтому с ними едет еще один русский в качестве санитара. Так получили визы.

Айседора наотрез отказалась платить шоферу, да и не могла, потому что денег не осталось, в том случае, если он не отвезет всех в Страсбург, как было заранее договорено. Но вместо Страсбурга он отвез в полицию, где выяснилось, что он прав.

Французы обязательно отобрали бы у него машину, так же как немецкая полиция отобрала бы машину у француза, если бы он подъехал близко к границе.

Но и шофер не имел права обманывать, обещав отвезти в Страсбург. В конце концов, Айседору заверили, что найдут машину, которая сможет пересечь границу.

Наняли машину до Парижа.

В кредит могли нанять только закрытую машину. Когда, наконец, тронулись в путь, было десять часов вечера и лил дождь как из ведра. С огромным трудом удалось уговорить Айседору ехать в такой машине. Она терпеть не могла закрытые автомобили, и не успели отъехать и две мили, как Айседора заявила, что теряет сознание и должна немедленно вернуться в отель. Ни при каких обстоятельствах она не могла ехать в закрытой машине.

Мэри стала объяснять ей, что ей необходимо быть в Париже на следующее утро, но она была неумолима. Действительно она страдала в закрытой машине — в какой-то мере это было связано со смертью ее детей. Айседора неистово била по окнам, и нам пришлось в отчаянии вернуться в отель.

Мэри сказала Айседоре, что она может добираться до Парижа как угодно, но сама Мэри обязательно уедет ночью на поезде.

Портье принес билет, и Мэри попросила Айседору подождать весточки и денег на дорогу.

Приехав в Париж, она тут же отправилась в “Отель дю Рин” и получила две тысячи франков, отправила их Айседоре телеграфом. Получив деньги, она решила, что было бы жаль проехать мимо великолепного собора, не показав Сергею его чудес и красот. И эти две тысячи ушли у них на трехдневное автомобильное путешествие.

Об Айседоре и Есенине Мэри услышала лишь через четыре дня, когда получила послание: “Ради Бога, приезжай и спаси нас”. Они находились в отеле “Уэстминстер”, администрация которого отказывалась подавать им еду и просила немедленно выехать. А накануне вечером они зарегистрировались как мистер и миссис Есенины. Ночной клерк не имел представления, что это знаменитая Айседора и ее русский муж, нагнавший своими скандалами ужас на многие отели Европы.

Приехав в отель, Мэри застала их за отвратительным спором с шофером. Шофер угрожал, что обратится в полицию, если ему не заплатят за четырехдневную поездку. Айседора позвонила своему секретарю, и тот нашел ей две тысячи франков, чтобы заплатить за дорогу.

Мэри попыталась объяснить управляющему, что мисс Дункан

сейчас не может выехать. Она ждет большую сумму денег от ростовщика и, пока ее не получит, не может расплатиться. Ничто не могло смягчить сердце управляющего. Он знал, что будет скандал, но действительной причиной того, что скандала еще не было, был его отказ позволить заказать спиртное, а у Сергея не было денег, чтобы купить его в другом месте.

В конце концов, управляющий взял кусок ценных кружев, а Мэри обещала, что за все заплачет. Она позвонила в отель “Мадрид” на Буа де Булонь и забронировала для мисс Дункан ее обычный номер.

Айседора была счастлива, что едет в “Мадрид”, где в прежние времена она потратила целое состояние. Но в дороге она настояла, чтобы остановились пообедать в “Карлтоне”. В нем она подписала счет, — у нее еще был там кредит. Но когда приехали в “Мадрид”, отель оказался запертым на ночь. С большим трудом подняли ночного швейцара, который заявил, что ни одной свободной комнаты нет, и наотрез отказался позволить внести багаж.

— По крайней мере, разрешите мне позвонить, — попросила Мэри. Пока три спутника сидели в машине в отчаянном и унизительном положении, Мэри позвонила в отель “Континенталь” и спросила, свободен ли номер, который прежде занимала мисс Дункан.

Ответили, что номер свободен. Затем Мэри велела портье приготовить холодный ужин: цыплят и бутылку шампанского — и предупредила, что Айседора прибудет не позже чем через полчаса. В “Континентале” осталась Айседора. Мэри поехала в свой отель.

Назавтра в десять часов утра сын Мэри подозвал ее к окну:

— Посмотри, на той стороне Айседора и Сергей, они только что сели на скамейку в Тюильри.

Действительно, это были они, и с ними еще один поэт. Мэри спустилась к ним, захватив с собой сигареты, которых, как чувствовала, им очень недостает. Айседора сказала, что как раз собиралась отправиться за ней.

Снова с ними случилось то же, что и в “Уэстминстере”. Ночной швейцар, ничего не зная о скандале, предоставил им номер, а днем управляющий известил их, что номер, в котором они находились, уже сдан гостям, прибывающим в два часа.

И они ушли, оставив багаж.

Что же делать?

Бессмысленно было пытаться поселиться еще в каком-нибудь отеле. Взяли такси и поехали к ростовщику. Сказали, что его нет. Ответили, что будут его ждать. Это вызвало большую досаду.

Когда приходили другие клиенты, им не могли сказать, что ростовщик у себя. Пустив в ход все уловки, чтобы выпроводить Айседору, ростовщик, в конце концов, понял, что от нее не отделаться. Положение Айседоры было настолько отчаянным, и ему было сказано, что он должен сейчас же отдать оставшиеся деньги, иначе живым ему не быть. Сергей, казалось, проникся духом происходящего. По его устрашающему виду было ясно, что он может убить кого угодно. Ростовщик вынул из ящика стола заряженный пистолет и положил его на стол:

— Застрелю любого, кто осмелится ко мне прикоснуться, — сказал он.

Вид револьвера лишь подзадорил Сергея, который всегда считал его детской игрушкой. Сделав неожиданное движение, он ловко схватил револьвер и направил на перепугавшегося до смерти ростовщика.

Ростовщик выписал чек, и Сергей небрежно швырнул револьвер на стол с того места, где стоял, еще более перепугав беднягу.

От ростовщика поехали к торговцу картинами. Ему объяснили ситуацию: негодяй ростовщик заплатил Айседоре жалкую сумму и все еще держит у себя три ее картины кисти Каррьера. Торговец, большой поклонник Айседоры, предложил купить картины и даже вернуть их ей в любое время, когда у нее будут деньги. Он сказал, что не возьмет процентов и она не понесет убытков.

Айседора была очень рада тому, что может забрать картины у ростовщика. Торговец поехал к нему, отдал ему чек и деньги, которые тот давал Айседоре в долг. Ростовщик вел себя как ягненок в присутствии этого джентльмена, а тот отдал Айседоре разницу и уехал с картинами.

Взяли такси и радостные поехали, как вдруг Сергей велел шоферу остановиться. В тот момент они проезжали мимо магазина, торгующего ярчайшими, безвкусными шелковыми кимоно и халатами всевозможных расцветок. Сергей стал убеждать Айседору, что немедленно должен обзавестись несколькими из этих приятных для него вещей. Айседора посмотрела на Мэри таким взглядом, будто говорила: “Ну, видишь, что это за милый непрактичный ребенок”.

Когда они вернулись в такси, из всех денег у Айседоры осталась лишь малая толика.

Поехали обедать в отель “Карлтон”, и здесь Айседора, заплатив по счету за прошлые обеды, решила, что это единственный отель в Париже, в котором стоит останавливаться. С ней тут всегда были очень вежливы и предупредительны,

поэтому она пошла к дежурному и вернулась совершенно счастливая, заявив, что сняла прекрасный номер с прелестной комнатой для Мэри. Та отказалась переехать, сказав, что останусь в своем отеле.

На следующий день после ланча Мэри поехала к ним. Управляющий отелем, увидев ее, спросил, не может ли он поговорить с мисс Дункан. Мэри ответила, что мисс Дункан нездорова, что поговорить с ним может она, Мэри, и не будет ли он так добр сказать, что хочет? Он сказал, что вечером будет большое празднество, и администрация сочла бы за честь, если бы мисс Дункан и сопровождающие ее лица присутствовали на обеде. Мэри возразила:

— Боюсь, что нет. Мисс Дункан всегда обедает у себя в номере.

— О да, — сказал он, — это я помню, но мы объявили прессе, что будет много выдающихся гостей и что особенно мы хотели бы пригласить мисс Дункан.

Возражать было выше сил Мэри и она направилась в салон.

Айседора, бледная, изящно возлежала на кушетке. Мэри передала ей приглашение, и она согласилась принять управляющего. Он был в высшей степени вежлив, красноречив и в конце концов, убедил ее принять приглашение.

Она мило предупредила:

— Помните, только для вас я нарушаю правило.

Все хохотали, оставшись одни: то силой вышвыривают из отеля, то администрация умоляет пообедать за ее счет — ну и дела!

Какой вечер! Айседора пригласила пойти с ней нескольких художников. Когда обед приближался к концу и похоже было, что хоть на этот раз все обойдется, к столу подошел профессиональный танцор и стал упрашивать Айседору протанцевать с ним танго. Сердце у Мэри замерло: она знала бессмысленную ревность Сергея. И даже если бы он не был ревнив, то Айседора, танцующая танго, могла возбудить ревность даже святого.

Когда она с триумфальным видом вернулась к столу, Сергей довольно громко крикнул:

— Еще шампанского!

Все неистово аплодировали Айседоре, и она снова танцевала с партнером — на этот раз они были одни на площадке. А официант принес еще шампанского, хотя Мэри и Айседора не разрешали ему этого делать.

Взгляд у Сергея стал дичать, и Айседора, надеясь, что Есенин последует за ней, попросила меня подняться с ней наверх,

приглашая и других, когда захотят, выпить кофе. Но Сергей не пошел за ней. Выходя из зала, Айседора сказала метрдотелю, чтобы ее мужу не подавали больше спиртного, так как он очень нервный человек, а если начнет себя вести несколько странно, то пусть его деликатно отведут в номер.

Примерно полчаса спустя раздался оглушительный шум — это несколько портье пытались деликатно отвести Сергея наверх. С треском открыв дверь в номер, он закричал:

— Шампанского, шампанского!

Айседора распорядилась:

— Дайте ему столько шампанского, сколько захочет, может, это его успокоит".

И начался ужасный скандал. Сергей оскорблял ее за танец, а она, никогда спокойно не переносившая оскорблений, бросала ему ругательства. Все это звучало на их обычном очень живописном жаргоне. Наконец Сергей, взяв шляпу и пальто, ушел, заняв у швейцара денег.

Айседора сказала:

— Чтобы избежать большего скандала, я лягу спать в комнате напротив, — и попросила Мэри остаться с ней.

Но вскоре снова раздался такой шум, будто шла осада Парижа. Ни один полк не мог бы наделать столько шума, как этот беснующийся русский поэт, когда был в ударе. Сергей вернулся за деньгами, но Айседора предупредила швейцара, чтобы тот больше не давал ему денег. И тогда на голову этого бедного парня обрушилась вся ярость ада. Сергей переломал все, что ему попалось под руку в его комнате, изорвал все туалеты Айседоры, висевшие в гардеробе, и разбросал лоскутья по всему номеру. Потом попытался выломать дверь в комнату, где находились Айседора и Мэри.

Айседора позвонила вниз и попросила прислать двух крепких молодцов, объясняя, что кто-то пытается вломиться в нашу дверь. Ей ответили, что таких портье у них нет, но если молодой человек сейчас же сам не спустится или не ляжет спать, то они найдут способ его успокоить. Айседора через дверь объяснила это Сергею, и он, со всей силы пнув дверь, в ярости ушел.

Айседора пришла в страшное волнение от страха: ведь Сергею могут причинить боль или обидеть — и винила во всем управляющего отелем. Она оделась, заявив, что пойдет искать Сергея, иначе сойдет с ума. Мэри никогда не видела ее в таком состоянии. Казалось, она ищет смерти только из-за того, что Сергей ее оскорбил.

Было три часа ночи, когда Айседора и Мэри вышли из отеля. Все заведения были уже закрыты, и они пошли на рынок, где все

кутилы собирались по утрам завтракать. Айседора заказала самый дорогой коньяк, “Наполеон”, и угощала им, как будто это была вода, танцовщиц из “Пер Транквиля” — знаменитого трактира, где подавали ранний завтрак.

Рынок, горел золотом цветов, фруктов и овощей, но Айседора ничего не замечала. Домой она вернулась в полубессознательном состоянии. Сергей спал на подушке за диваном в салоне. Оказывается, он отправился без денег в русский ночной ресторан, оскорбил хозяев, но нынешние русские рестораторы, бывшие генералы царской армии, знали, как обращаться с таким русским: отобрали у него часы и пальто, сняв ботинки, били по подошвам ног, а после выкинули на улицу. Таксист, привезший Сергея в ресторан, подобрал его и привез в отель.

Айседора рухнула в постель полумертвая, а рано утром управляющий объявил, что она должна немедленно выехать.

Мэри возражала ему:

— Это невозможно, ведь мисс Дункан тяжело заболела! На что он ответил, что это не имеет никакого значения и что в противном случае ее вынесут через специальный черный ход, откуда выносят больных и мертвых.

Айседоре было так плохо, и Мэри боялась, она умрет. Глаза остекленели, она ничего не видела и не понимала.

Сергей проявил большую нежность и заботливость и очень боялся, что за ним придет полиция. Администрация отказалась что-либо обсуждать и требовала, чтобы мы убирались.

Мэри послала за братом Айседоры Реймондом, умоляя его немедленно приехать с хорошим доктором, что он и сделал. Врач выдал свидетельство, что мисс Дункан смертельно опасно двигаться и что она отравлена. Он предупредил администрацию, чтобы она была очень осторожна. Случай отравления всерьез испугал ее: Айседора обедала в отеле и довольно громко вечером заявила, что ее отравили.

Больше их не трогали, а на следующее утро они переехали в отель “Резервуар” в Версале. Он располагался в прелестном маленьком павильоне. Там Айседора с Сергеем оставались несколько дней, затем вернулись в Париж, где Айседора получила возможность снова вступить во владение своим домом на рю де ля Помп, № 103, с его великолепным Бетховенским залом, в котором прежде было проведено так много блаженных счастливых часов, лилась райская музыка, танцевали Айседора и ее четыре прелестные ученицы. В этом зале часто собирались вся красота и остроумие Парижа.

Но денег не было, и началась ежедневная распродажа мебели, книг, картин, зеркал — словом, всего, что было в доме. Каждый

день Айседора говорила с улыбкой:

— Ну, что съедим сегодня — диван, книжный шкаф или это старое кресло? И каждый день приходил торговец подержанной мебелью и оставлял деньги на обед. Догадки, сколько дадут за ту или иную вещь, превратились в игру.

Больше всего забавлял Айседору набор из гобелена: диван и четыре кресла — подарок ее любовника Лоэнгрина, полученный много лет назад. Она тратила большие деньги на то, чтобы эти вещи сохраняли и хорошо заботились о них, пока сама находилась в отъезде, но когда наступила их очередь быть проданными, за них дали только триста долларов, ибо они оказались искусной подделкой.

Как ни странно, Айседора ненавидела эти вещи, но сохраняла как память о человеке, подарившем их. Она часто говорила:

— Не пойму, почему людям нравятся эти вещи, я возле них чувствую себя неприятно, — но ведь она вообще ненавидела мебель, и единственное, что признавала, это кушетки и несколько прекрасных столов. Письменные столы приводили ее в ужас, она всегда писала на огромных простых столах, где можно было как угодно разбрасывать книги и бумагу.

С каждым днем дом, по ее мнению, становился лучше, так как мебель постепенно исчезала, пока продавать стало нечего. И тут дела приняли весьма дурной оборот. Дикие сцены Сергея повторялись каждые три-четыре дня, пока не наступил час, когда Айседора не могла оставаться с ним одна, и тогда или Реймонд, или Мэри, или они оба ночевали у нее. Часто Реймонд, Айседора и Мэри спали на кушетках в большой студии (там были десятки таких кушеток с набросанными на них подушками), а Сергей всю ночь бродил по дому и скандалил.

Как-то ночью он выпрыгнул в окно, рыбкой вылетев головой вперед и разбив стекло, но даже не поцарапался.

В один из вечеров Сергей, Айседора и Мэри обедали в обществе княгини Голицыной — “Ами Гуро”.

После обеда Айседора танцевала, а Ами спела несколько причудливых гавайских песен, аккомпанируя себе на народном инструменте. Этим песням научил ее старый местный король, когда она была на Гавайях много лет назад. Они были очень странные и грустные. Сергей и здесь, как обычно, начал одну из своих скандальных сцен, и они быстро ушли. Не дожидаясь машины, пошли домой пешком, и Сергей во всю глотку орал песни и декламировал стихи, как это он делал в России, но к большому удивлению парижан, пытавшихся заснуть.

Мэри умоляла Айседору поехать к ней домой и оставить Сергея одного. Говорила ей, что это единственный способ

избежать скандала и опасности. Айседора обратилась к патрулирующему полицейскому с вопросом, может ли он дежурить на таком расстоянии от ее особняка, чтобы услышать, когда будут звать на помощь, поскольку муж ее очень болен и иногда бывает опасен. Мэри отказалась войти в дом и оставила Айседору.

Среди ночи Айседора разбудила Мэри, вбежав со словами, что не может больше выносить такую жизнь, что необходимо сдать или продать дом, потому что она решила немедленно отправить Сергея в Россию.

На следующий день Айседоре очень повезло: она нашла русского, сочувствующего до глубины души ее положению, он предложил снять дом, заплатив сразу же хорошие деньги и пообещав высылать ежегодную арендную плату. К вечеру все было сделано. Он получил деньги в своем банке, и Мэри потребовала, чтобы он пошел в контору банка “Американ экспресс” и отдал Айседоре две трети всех денег в чеках этого банка, которые Сергей и за деньги-то не считал. Он знал только, что у Айседоры 25 тысяч франков, которые она взяла деньгами.

Как только вернулись домой, Сергей заторопился к своему портному, чтобы получить два костюма, ранее заказанные и за которые требовалось немедленно заплатить. Он сделал это, несмотря на то что у него были десятки новых костюмов, много набитых сундуков. Айседора снова сказала, что он, как ребенок, хочет все новые игрушки.

В этот же день ее очень расстроил приход полиции и вопросы о Сергее в связи с ее разговором с полицейским накануне ночью. Есенину снова приказали в двадцать четыре часа покинуть Францию. Поэтому к семи вечера он упаковал свои вещи и выехал в Берлин дожидаться там Айседору. Она обещала последовать за ним через три дня.

Когда садились в машину, чтобы проводить его на вокзал, Айседора заметила среди его вещей небольшой чемоданчик с ее личными письмами и бумагами, который Сергей тайно вынес из дома и спрятал в багаже.

Айседора попросила шофера незаметно для Сергея сбросить этот чемодан с машины.

Наконец отправили Есенина, и по дороге домой Айседора сказала:

— Слава богу, это кончилось.

Впервые за много дней она спокойно спала ночь.

На следующий день все пошли на ланч в студию Реймонда. Вдруг Айседора воскликнула:

— Нервы мои, должно быть, в жутком состоянии. Мне

чудится, я слышу голос Сергея!

Но, увы! Это была не галлюцинация. Это был сам Сергей, который, приехав к бельгийской границе, обнаружил, что у него нет визы, по крайней мере, он сказал так, но на самом деле он хватился маленького чемоданчика с личными бумагами Айседоры и тут же вернулся. Бросившись перед Айседорой на колени, он сказал, что не может жить без своей обожаемой жены и только с ней поедет в Россию или куда она захочет. И никогда с ней не расстанется.

Это так понравилось Айседоре, что на следующий день она выехала с ним в Берлин, а Мэри обещала последовать за ними через три дня.

Мэри с Реймондом выручили еще четыре тысячи франков за некоторые оставшиеся вещи. Когда Мэри приехала в Берлин, Айседора и Есенин уже растратили почти все имевшиеся у них деньги, кроме чеков “Американ экспресс”.

Мэри положила привезенные четыре тысячи франков в маленький мешочек и заставила Айседору обещать не показывать их Есенину. Впоследствии она рассказывала, что эти скудные франки спасли ей жизнь, когда он бросил ее одну в России, после того как она потратила чеки “Американ экспресс” на свою школу. На следующий вечер они уехали в Россию.

Когда поезд тронулся, лица Айседоры и Есенина были бледными, а сами они походили на две заблудившиеся души. Айседора махала Мэри рукой, и по лицу ее лились слезы.

— Мэри, родная, обещай, что приедешь. Я договорюсь о твоей визе в Москве.

3 августа 1924 г . Есенин возвратился на Родину.

Медленно, с трудом приходил он в себя после заграничного турне, как приходят в себя люди, очнувшиеся после многодневного пребывания в шумном борделе.

— Мразь!

— Что?

— Европа — мразь!

Больше о Европе он почти не говорил, только изредка вспоминал пение “Интернационала” в Берлине, которое, по его словам, окончилось дракой. Америка была удостоена более пространных излияний.

— Да, я скандалил… мне это нужно было. Мне нужно было, чтобы они меня знали, чтобы они меня запомнили. Что… я им стихи читать буду? Американцам стихи? Я стал бы только смешон в их глазах. А вот скатерть со всей посудой стащить со стола, посвистеть в театре, нарушить порядок уличного движения — это

им понятно. Если я это делаю, значит, я миллионер, мне, значит, можно. Вот и уважение готово, и слава, и честь! О, меня они теперь помнят лучше, чем Дункан!..

До конца своих дней сохранил в памяти Есенин разноцветные обложки американских журналов, с которых смотрели на читателя он сам и его Изадора.

Айседору, после поездки, поэт уже с трудом переносил возле себя, как ненужное, опостылевшее напоминание о том жутком мире, откуда он не чаял, как вырваться.

После возвращения из-за границы эта мысль в устных беседах уже не просто подчеркивалась, но с болью, с надрывом, с яростью вбивалась в головы собеседников.

— Основная тема моей поэзии — Россия! Без этой темы я не был бы поэтом.

Приехав в Москву в 1924 году, Айседора и Есенин нашли школу в жалком состоянии. К счастью, у Айседоры были чеки “Американ экспресс” примерно на 70 тысяч франков. Жизнь в России заметно изменилась: теперь все было поставлено на коммерческую ногу. Купить можно было все, что угодно, при условии, что необходимый товар имелся в наличии и что вы в состоянии заплатить за него непомерную цену. Частникам торговать было нельзя, а в государственных магазинах драли, сколько хотели. Одни лишь продукты были дешевыми и в изобилии, так же как вино и водка.

Айседора потратила все, что у нее было, на школу. Это привело Сергея в ярость — он хотел владеть всем и раздавать все друзьям. Десятки своих костюмов он щедро раздаривал направо и налево, так же как обувь, рубашки и т. п., не говоря уж о туалетах Айседоры, о которых она постоянно спохватывалась в Париже и считала, что их крали горничные.

Они с Сергеем пробыли в Москве лишь несколько дней, когда он исчез на несколько недель. Айседора была встревожена и думала, что с ним что-то случилось. Без конца до слуха ее доходили сплетни, будто по ночам его видели в ресторанах, обычно с женщиной. Так продолжалось несколько месяцев. Он возвращался только для того, чтобы выманить у нее деньги, с которыми можно было устраивать дебоши.

Айседора — женщина с тонкой душой старалась спасти разнузданного пьяницу. Но Айседора никогда не чувствовала по отношению к нему ни малейшего гнева. Когда он возвращался, ему достаточно было броситься к ее ногам, как перед Мадонной, и она прижимала его златокудрую голову к груди и успокаивала его. В то время она была очень больна — подозрение на

воспаление легких, но все время боролась за то, чтобы обеспечить едой своих учениц, находить для них топливо, помимо того, что ежедневно преподносила им духовную пищу — танец. Айседора хотела только одного — нести всем счастье.

Когда Айседора оставалась одна, она часами сидела, рассматривая огромный альбом с фотографиями своих детей. Он был с нею всегда, но очень редко она показывала его кому-нибудь. Как-то вечером, когда Сергей неожиданно вернулся домой, он застал Айседору плачущей над фотографиями своих любимых покойных детей. В пароксизме ярости он выхватил у нее альбом и, прежде чем она успела помешать, швырнул его в бушующее пламя. Айседора спасла бы его от огня, но Сергей держал ее с нечеловеческой силой и выкрикивал гадости о ее детях. В конце концов, она упала без сознания. Больше она никогда Есенина не видела.

Совершенно измученная и больная от борьбы за сохранение школы, беспокоясь о Сергее и мучаясь от очень жаркой погоды, Айседора решила поехать в деревню. Уже несколько месяцев она не имела никаких вестей от Сергея, как вдруг пришла телеграмма: “Пожалуйста, перестаньте писать и телеграфировать Сергею Есенину. Он теперь принадлежит мне и не хочет больше с вами общаться. Подпись “Толстая” (Толстая Софья Андреевна, 1900—1957, — внучка Л.Н. Толстого, третья, последняя жена С.А. Есенина.).

Итак, это был конец всем мечтам Айседоры, ее бескорыстным честолюбивым замыслам в отношении ее молодого поэта. Над ее любовью тяготело проклятие. Все ее романы кончались катастрофой.

ВЕРНАЯ ПОДРУГА Г. БЕНИСЛАВСКАЯ

В квартире Гали Бениславской Есенин обосновался после двухмесячной бесприютности и скитаний по разным адресам. Буквально не прошло и двух недель по возвращении из-за границы, как он разорвал брачные отношения с Дункан и съехал с Пречистенки. Пришел на Богословский к Мариенгофу, у которого уже была семья. Пожил недолго и заявил, что “не может сидеть на краю чужого гнезда”. А самое главное, убедился, что с Мариенгофом ему не о чем стало говорить.

Тут-то и возникла на его пути Галя Бениславская, бывшая работница секретариата ВЧК, — сотрудница редакции “Бедноты”, с имажинистских времен по уши влюбленная в Есенина. Она и предоставила ему угол в своей комнате, ему и его сестре Екатерине. В этой же густонаселенной квартире жили старые знакомые — Аня Назарова, Яна Козловская, дочь известного большевика, а также партийная журналистка Софья Виноградская, редактор “Бедноты” Грандов.

Все попытки Есенина добиться собственной жилплощади остались тщетными. Ни в секретариате Троцкого, ни в Моссовете у Каменева — нигде даже ухом не повели. Ходатайства не имели никакой силы, ибо квартиры в Москве получали в первую очередь ответственные работники. Так в Брюсовском переулке, в комнате Бениславской, Есенин и прожил около года.

Он был искренне благодарен этой женщине, приютившей его и взявшей в дальнейшем в свои руки все дела по устройству рукописей и книг. Но при этом не испытывал к ней сердечных чувств, что травмировало и оскорбляло ее. Открытые свидания поэта с крутящимися вокруг “розочками” вроде Риты Лившиц, Нади Вольпин или Агнессы Рубинчик доставляли ей немалые страдания, как и поездки Есенина на Пречистенку — долго он еще не находил в себе сил окончательно порвать с Дункан и, оставив ее, испытывал обостренное желание видеться с ней хоть раз в неделю… Но даже о них Бениславская не писала в своих воспоминаниях с такой злобой и яростью, как о друзьях поэта, навещавших его на дому и встречавшихся с ним в “Стойле Пегаса”.

Помимо Бениславской у Есенина было немало евреек. В каждой из молоденьких евреек, стайкой вертевшихся вокруг поэта, ему виделась одна из библейских красавиц, вроде той, о которой сложена “Песнь песней”. Личное здесь органически

сочеталось с прочитанным, и в образах миловидных барышень оживали героини древних легенд.

Он говорил об этом Агнессе Рубинчик, на эту же тему, уже сугубо применительно к литературе, вел беседы и с Надей Вольпин. А когда писал Мариенгофу из Америки и упоминал еврейских эмигрантов из России, как “лучших ценителей искусства”, пояснил это примером, хорошо ему знакомым по Москве:

— Потому ведь и в России, кроме еврейских девушек, никто нас не читал.

Однажды, услышав от какого-то “доброжелателя” о “еврейской крови” у Дункан, он только пожал плечами, дескать, к чему было это скрывать?

Двусмысленность отношений с Бениславской мучила и раздражала: он живет в квартире у женщины фактически на правах мужа, здесь его ждут, заботятся о нем, он полностью доверяет ей свои деловые отношения — но и только! В его собственной душе не было ничего похожего на любовь, и даже доверительно, откровенно поговорить с ней о том, что он чувствует, о чем думает — не мог! Женский ум, вечная ревность ко всем окружающим, абсолютная “идеологическая выдержанность” советской служащей… Так и хотелось найти утешения на стороне, но не среди “розочек”. Хотелось чего-то высокого, чистого, постоянного.

АННА БЕРЗИНЬ

В начале февраля, ночью, возвращаясь домой изрядно захмелевшим, Есенин случайно разбил стекло в полуподвальном этаже и глубоко разрезал себе правую руку. Его отвезли в Шереметевскую больницу, куда 20 февраля явился милиционер, держа в руках письменное определение суда. В этом документе указывалось, что поскольку поэт не явился в суд "для вручения обвинительного акта", а также "уклоняется от суда и продолжает в дальнейшем хулиганить", его предписывается взять под стражу.

Навестившая поэта Галина Бениславская убедила лечащего врача Герштейна продержать Есенина в больнице как можно дольше. Со своей стороны, Герштейн сообщил ей о том, что работники милиции взяли с хирурга обязательство предупредить их, когда поэт будет выписываться.

Необходимо было срочно что-то предпринимать. Спасательную работу Бениславская начала с того, что рассказала обо всем по телефону Анне Абрамовне Берзинь.

С этой женщиной Есенин познакомился в "Стойле Пегаса" еще в пору военного коммунизма. Участница гражданской войны, свой человек в кругу ответственных работников ВЧК — ОГПУ, она в начале 1924 года работала редактором отдела крестьянской литературы Госиздата. При этом по своим идейным и литературным позициям она была близка к группе "Октябрь" и журналу "На посту" и находилась в интимной дружбе с Илларионом Вардиным — заведующим сектором ЦК РКП(б).

Странную роль играла она в жизни поэта. Убежденная интернационалистка, непримиримая противница сколь-нибудь заметных проявлений "великорусского шовинизма", благообразная советская дама, жаждущая достичь высокого положения и с этой целью вступавшая в связь с разного рода "перспективными людьми", начиная от наркомвоенмора Грузии Элиавы и Вардина и кончая Бруно Ясенским, она в своих воспоминаниях, написанных незадолго до смерти, рисовала себя как наиболее близкого друга последних лет жизни Есенина.

"…Из женщины, увлеченной молодым поэтом, — писала она, — быстро минуя влюбленность, я стала товарищем и опекуном, на долю которого досталось много нерадостных минут…"

Не подлежит сомнению — она была искренне увлечена Есениным и любила его стихи. Но столь же, несомненно, и то, что искреннее чувство восхищения соседствовало у нее с жесткой прагматичной установкой на подчинение поэта определенной

идеологической линии. Момент был выбран как нельзя более удачно. Есенин жаждал выхода из замкнутого круга, стремился любым способом оттянуть неизбежное, уйти от суда… Берзинь явилась как ангел-хранитель. Она тут же нажала на Вардина, тот воспользовался своими связями, и Есенина перевели в Кремлевскую больницу, куда милиции доступа не было.

Берзинь же обнадежила Есенина известием, что у него наконец-то будет своя комната. Новость обрадовала и успокоила поэта: слава Богу! Кончится эта бездомность, шатание с квартиры на квартиру… Он стал делиться с благодетельницей творческими замыслами, рассказывал о работе над “Страной негодяев”, читал первый вариант “Черного человека”… В Кремлевке он продолжал работу над поэмами, которые казались ему важнее, чем написанные тогда же лирические стихи.

Софья Виноградская и Яна Козловская, навестив Есенина, услышали новое стихотворение, о котором поэт проронил: “Маленькое, нестоящее оно…”

Женщины сидели возле кровати, будучи не в силах пошевелиться и остановить слезы, льющиеся по щекам, а Есенин хрипел, стучал по кровати забинтованной рукой и, кажется, готов был сорваться с места, разорвав путы, приковавшие его к больничной койке.

Что, спрашивается, знали обо всем этом те, кто с наслаждением распространял свежие сплетни об очередных скандалах “пропойцы” и перешептывался о “затяжном кризисе” у Есенина? Какое представление о его горьких думах имели все они? В том числе и эти заботливые женщины, окружавшие его и видевшие в нем только больного человека?

“Милый, хороший Сергей Александрович! Хоть немного пощадите Вы себя. Бросьте эту пьяную канитель, — писала Есенину Галина Бениславская, измученная не только своими заботами о нем, но и ощущением совершенной невозможности понять человека, которого она, как ей казалось, знает, как облупленного… — То, что сейчас с Вами, все эти пьяные выходки, весь этот бред, все это выворачивание души перед “друзьями” и недругами, что это?.. У Вас ведь расстройство души… Сразу же идите домой, запирайтесь, и довольно, ведь не могу же я за Вас делать то, что Вы и только Вы один можете сделать — не выходить, не показываться в “общество”…

Вы сейчас какой-то “не настоящий”. Вы все время отсутствуете. И не думайте, что это так должно быть. Вы весь ушли в себя, все время переворачиваете свою душу, свои переживания, ощущения. Других людей Вы видите постольку, поскольку находите в них отзвук вот этому копанию в себе… Вы

разучились вникать в мысли, Вашим мыслям несозвучные… Вы по жизни идете рассеянно, никого и ничего не видя. С этим Вы не выберетесь из того состояния, в котором Вы сейчас. И если хотите выбраться, поработайте немного над собой…

Я сейчас на краю. Еще немного, и я не выдержу этой борьбы с Вами и за Вас… Вы сами знаете, что Вам нельзя. Я это знаю не меньше Вас. Я на стену лезу, чтобы помочь Вам выбраться, а Вы? Захотелось пойти, встряхнуться, ну и наплевать на все, на всех… Хожу через силу… Покуда Вы не будете разрушать то, что с таким трудом удается налаживать, я выдержу…”

Да, он был благодарен ей за заботу. Но причину происходящего ни она не понимала, ни он не мог объяснить.

Из Ленинграда он пишет ответное письмо, целиком выдержанное в успокаивающем, умиротворяющем духе. Главное, чтоб она не впадала в панику и перестала писать истеричные письма:

“Галя милая! Я очень люблю Вас и очень дорожу Вами. Дорожу Вами очень, поэтому не поймите отъезд мой как что-нибудь направленное в сторону друзей от безразличия. Галя милая! Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного. Сейчас я решил остаться жить в Питере…

Дорогая, уговорите Вардина и Берзину так, чтоб они не думали, что я отнесся к их вниманию по-растоплюевски.

Все мне было очень и очень приятно в их заботах обо мне, но я совершенно не нуждаюсь ни в каком лечении…”

В этот раз жить в Питере он не остался. Заработав деньги на издание книги, вернулся в Москву, рассчитывая еще приехать в Ленинград, пожить и поработать.

АННА АХМАТОВА

Однажды Есенин в компании ленинградских имажинистов неожиданно забрел в Фонтанный дом, в гости к Анне Ахматовой.

Они никогда не были особенно близки. Личного контакта между ними не возникало. Есенин хорошо помнил свой первый приезд в Царское Село, знакомство с Ахматовой и Гумилевым, их снисходительно-сдержанную реакцию на его стихи. Помнил и ахматовские "петербургские" шпильки: "Да… мы с вами встречались на углу пирамиды Хеопса…" В то же время он с тайной симпатией относился к ее стихам и был неприятно удивлен тем, насколько поэтический образ не совпадал в данном случае с образом человеческим. Теперь же, спустя почти 10 лет, он ходил по Ленинграду, оживляя в своей памяти все самое доброе и лучшее, чем приветила его когда-то северная столица. Он встречался со старыми друзьями и знакомыми после многих лет разлуки и под впечатлением накативших чувств делился с ними самыми горькими переживаниями. Иногда это был несвязный поток обрывочных фраз, объединенных только чувством боли, с которым они произносились. Владимир Чернявский, с которым Есенин встретился в те же дни, попытался уговорить поэта "не пьянствовать и поберечь себя", чтобы написать еще много "хороших вещей"… В ответ последовал взрыв: Есенин лихорадочно заговорил, перескакивая с одной мысли на другую. "Если бы я не пил, разве я мог бы пережить все, что было?.." Потом, перебивая себя, не будучи в состоянии ясно высказать, что его мучило, повторял, как бы досадуя на собеседника за непонимание: "Россия! Ты понимаешь — Россия!"

И вот теперь он стоял перед Ахматовой, к которой подошел тихо, почти благоговейно, и поцеловал ей руку. Она увидела в нем нечто новое — совсем не того поэта и человека, к которому когда-то относилась с чисто эстетским "столичным" высокомерием.

Никому бы из своего литературного окружения не призналась Ахматова, что ее по-настоящему волнуют есенинские стихи, гласные же реплики Анны Андреевны в адрес Есенина продиктованы взлелеянным ей самой в своей душе ощущением несправедливости в распределении прижизненной и посмертной славы. Но так или иначе, в этот раз, в минуты нежданной и нелепой встречи, они разговаривали на удивление мирно и доверительно, ощущая едва осознаваемое ими родство душ. Пожалуй, первый и последний раз в жизни Ахматова оценила Есенина адекватно его личности и поэтической значимости. "О

нем часто писали, к сожалению, и много такого, что тяжело было читать, — вспоминала она незадолго до смерти. — Его пытались учить жить и работать, и это звучало так, как будто было только два пути… а он явно искал свой путь — третий — и пел о жизни на шестой части земли с названьем кратким “Русь”… В нем действительно было много нового. Он рассказывал о своей поездке за рубеж. Из рассказов стало особенно ясно, насколько он русский. Его не вырвешь из полей и рощ… Не вырвешь и из новой России, и мне кажется, потому, что он, как и все мы, увидел, что

Новый свет горит
Другого поколения у хижин.

А ведь увидеть — значит понять. А это определяло путь, по которому идти”.

Они беседовали о Пушкине, о портрете Ореста Кипренского, и Есенин с усмешкой говорил, что не родился художник, который бы написал с него такой же льстивый портрет. Говорили о судьбе Параши Жемчуговой, крепостной актрисе, жене графа Шереметева, и Сергей читал и читал стихи — “Возвращение на родину”, “Пушкину”, весь цикл “Рябиновый костер”… Уходя, “забыл” томик “Пугачева” без всякой дарственной надписи, и, раскрыв его, Ахматова увидела подчеркнутые строки:

О смешной, о смешной, о смешной Емельян!
Ты все такой же сумасбродный, слепой и вкрадчивый;
Расплескалась удаль твоя по полям,
Не вскипеть тебе больше ни в какой азиатчине.

…Написанное через год стихотворение “Так просто можно жизнь покинуть эту…”, адресованное расстрелянному Гумилеву, Ахматова, узнав о гибели Есенина, посвятила его памяти, осознав страшное предсказание, содержащееся в нем, навеянное есенинскими мотивами предчувствия близкой смерти. А еще через несколько лет, вспоминая погибших своих современников, набросала несколько строк, воплотивших размышление о трагической судьбе русского поэта:

Оттого, что мы все пойдем
По Таганцевке, по Есенинке,
Иль Большим Маяковским путем…

С двадцать третьего по двадцать четвертый год на Есенина было заведено несколько уголовных дел. Но ни одно из них не дошло до суда: Есенин пропадал, исчезал, растворялся. От одного из дел убежал в Ленинград, потом в Тверь, опять в Ленинград, опять в Москву и, наконец, сбежал на Кавказ, где вскоре почувствовал необыкновенный прилив вдохновения и с радостью увидел, что в его последних стихах появляется какой-то новый, естественный и широкий, взгляд на окружающий мир.

Я из Москвы надолго убежал.
С милицией я ладить
Не в сноровке,
За всякий мой пивной скандал
Они меня держали
В тигулевке.

Всего же на Есенина было заведено 13 уголовных дел

НОВАЯ ЖЕНА С. ТОЛСТАЯ

Есенин написал знаменитое стихотворение “Собаке Качалова”, в котором были такие строки:

Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и не всяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку,
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват.

Эти строки были обращены к Галине Бениславской, которой незадолго до этого Есенин написал жестокое письмо, роковым образом повлиявшее на ее жизнь: “Милая Галя! Вы мне близки, как друг, но я Вас нисколько не люблю, как женщину”.

Это оскорбительное и убийственное для Бениславской письмо Есенин написал потому, что ему понадобился открытый разрыв с ней: за несколько дней до визита к Качалову в его жизнь вошла Софья Толстая — внучка “великого старца”.

Неожиданно и легкомысленно, как он всегда поступал в этих случаях, поэт принял решение жениться на ней.

С Софьей Андреевной Толстой-Сухотиной — внучкой Льва Толстого — он познакомился 5 марта 1924 года на вечеринке у той же Галины Бениславской.

Какова же была новая пассия Есенина, могла ли она стать другом, женой, верной спутницей “падшего ангела”, “хулигана и пьяницы”? Об этом существуют самые разноречивые суждения современников.

Первое принадлежит самой Софье Толстой:

“На квартире у Гали Бениславской, в Брюсовском переулке, где одно время жил Есенин и его сестра Катя, как-то собрались писатели, друзья и товарищи Сергея и Гали. Был приглашен и Борис Пильняк, вместе с ним пришла я. Нас познакомили. Пильняку куда-то надо было попасть в этот вечер, и он ушел раньше. Я же осталась. Засиделись мы допоздна. Чувствовала я себя весь вечер как-то особенно радостно и легко. Мы разговорились с Галей Бениславской, с сестрой Сергея — Катей.

Наконец я стала собираться. …Решили, что Есенин пойдет меня провожать. Мы вышли с ним вместе на улицу и долго бродили по ночной Москве… Эта встреча и решила мою судьбу. Вскоре Есенин уехал на Кавказ… Через несколько месяцев, весной 1925 года, я вышла за него замуж, а в декабре Сергея Александровича не стало. Что я тогда пережила… Страшно подумать!”

По иронии судьбы их знакомство произошло по случаю дня рождения Бениславской, которую Есенин иногда представлял друзьям, называя не только своим другом, но и женою. А буквально за два месяца до окончательного своего решения он обнадежил Бениславскую настолько, что она никак не могла ожидать от него такого предательства. 20 декабря 1924 года Есенин написал ей из Батума: “Может быть, в мире все мираж, и мы только кажемся друг другу. Ради бога, не будьте миражом Вы. Это моя последняя ставка, и самая глубокая…”

Через два месяца он сделал последнюю ставку на Софью Толстую. Для Бениславской все ее надежды на любовь и привязанность к ней Есенина снова оказываются миражом.

Это было тем более невыносимо для нее, ибо всем окружающим, да и самой Галине Артуровне казалось очевидным, сколь заурядна и неинтересна Толстая по сравнению с ней.

Вот как вспоминает о Толстой сестра поэта: “Выше среднего роста, немного сутуловатая, с небольшими серовато-голубыми глазами под нависшими бровями, она очень походила на своего дедушку — Льва Николаевича; властная, резкая в гневе, и мило улыбающаяся, сентиментальная в хорошем настроении. “Душка”, “душенька”, “миленькая” были излюбленными ее словами и употреблялись ею часто, но не всегда искренне”.

Летом 1925 года во время длительного сватовства Есенина к Толстой, с постоянно возникающими вечеринками, поэт написал стихотворение, в котором было высказано его заветное желание той поры:

Я хотел бы теперь хорошую
Видеть девушку под окном.

Чтоб с глазами она васильковыми
Только мне —
Не кому-нибудь —
И словами и чувствами новыми
Успокоила сердце и грудь.

Но Толстая побывала уже замужем, а во время знакомства

Есенина с нею была любовницей Пильняка… Не об этом ли думал Есенин, когда писал: “только мне — не кому-нибудь, и словами и чувствами новыми…”. Так что особенно новых слов и чувств у нее, видимо, не было, и, наверное, ее имел в виду Есенин, когда в другом стихотворении сравнивал с лисицей, которая, притворившись мертвой, ловит воронят.

В немногих мемуарах современников о ней идет речь, как о женщине, довольно легко переходившей из одних писательских рук в другие. Борису Пильняку, видимо, она уже достаточно надоела, и он, не то чтобы с ревностью, а с облегчением заметил, что Есенин стал оказывать ей недвусмысленные знаки внимания.

Об одной из последующих вечеринок, происшедшей приблизительно в том же составе, существует рассказ Анны Берзинь:

“Поднимаясь к дверям квартиры, в которой жили Есенин и Бениславская, я слышу, как играют баянисты. Их пригласил Сергей Александрович из театра Мейерхольда. Знаменитое трио баянистов.

В маленькой комнате и без того тесно, а тут три баяна наполняют душный, спертый воздух мелодией, которую слушать вблизи трудно. Баянисты, видимо, “переложили” тоже и потому стараются вовсю, широко разводя мехи. Рев и стон.

За столом сидят Галина, Вася Наседкин, Борис Андреевич Пильняк, двоюродный брат Сергея, который за ним ходил по пятам, незнакомая женщина, оказавшаяся Толстой, сестры Сергея. Сам он пьяный, беспорядочно суетливый, улыбающийся. Он усаживает меня между Пильняком и Софьей Андреевной. Сам садится на диван и с торжеством смотрит на меня.

Галина Артуровна то и дело встает и выходит по хозяйским делам на кухню. Она все время в движении.

Шура, Катя, Сергей поют под баяны, но Сергей поет с перерывами, смолкая, он бессильно откидывается на спинку дивана, опять выпрямляется и опять поет. Лицо у него бледное, губы он закусывает — это показывает очень сильную степень опьянения.

Я поворачиваюсь к Софье Андреевне и спрашиваю:

— Вы действительно собираетесь за него замуж?

Она очень спокойна, ее не шокирует гам, царящий в комнате.

— Да, у нас вопрос решен, — отвечает она и прямо смотрит на меня.

— Вы же видите, он совсем невменяемый. Разве ему время жениться, его в больницу надо положить. Лечить его надо.

— Я уверена, — отвечает Софья Андреевна, — что мне удастся удержать его от пьянства.

— Вы давно его знаете? — задаю я опять вопрос.

— А разве это играет какую-нибудь роль? — Глаза ее глядят несколько недоуменно. — Разве надо обязательно долго знать человека, чтобы полюбить его?

— Полюбить, — тяну я, — ладно полюбить, а вот выйти замуж — это другое дело…

Она слегка пожимает плечами, потом встает и подходит к откинувшемуся на спинку дивана Сергею. Она наклоняется и нежно проводит рукой по его лбу. Он, не открывая глаз, отстраняет ее руку и что-то бормочет. Она опять проводит рукой по его лбу, и он, открыв глаза, зло смотрит на нее, опять отбрасывает руку и добавляет нецензурную фразу.

Она спокойно отходит от него и садится на свое место как ни в чем не бывало.

— Вот видите, разве можно за него замуж идти, если он невесту материт, — говорю я.

И она опять спокойно отвечает:

— Он очень сильно пьян и не понимает, что делает.

— А он редко бывает трезвым…

— Ничего, он перестанет пить, я в этом уверена. — Она действительно, кажется, в этом уверена.

Галя наливает стакан водки и подает Сергею, он приподнимается и шарит по столу.

Катя и я киваем: пусть уж напьется и сразу уснет, чем будет безобразничать и ругаться.

Сергей Александрович выпивает водку и валится на диван.

— Пойдемте, — говорю я и, повернувшись к Пильняку, добавляю: — Вы проводите Софью Андреевну, ведь уже поздно.

За очками поблескивают хитрые и насмешливые глаза. Я отвожу взгляд, а он, пригнувшись к моему уху, говорит достаточно громко, чтобы слышала Софья Андреевна:

— Я пойду провожать вас, а ее пусть кто угодно провожает. Целованных и чужих любовниц не провожаю…

Я растерянно поднимаюсь из-за стола и, взяв Бениславскую за руку, выхожу с ней в коридор.

— В чем дело, Галя, я ничего не понимаю…

У нее жалкая улыбка.

— Что же тут не понимать? Сергей собирается жениться… Он же сказал тебе об этом…

— Ты же знаешь, что Сергей болен, какая же тут свадьба?

Она устало машет рукой, и в ее глазах я вижу боль и муку:

— Пусть женится, не отговаривай, может быть, она поможет и он перестанет пить…

— Ты в это веришь, Галя?

Она утвердительно кивает головой.

В коридор выходят остальные. Только трое баянистов продолжают раздирать квартиру песнями. Сергей под их музыку спит, откинув голову. Лицо его бледно, губы закушены.

Усталая Галя провожает нас до двери. С Софьей Андреевной идет, кажется, брат Сергея.

Пильняк дорогой открывает тайны: Софья Андреевна жила с ним, а теперь вот выходит за Сергея. Он говорит об этом, а за очками поблескивают его насмешливые глаза.

Мне ни о чем говорить не хочется.

Зачем это делает Сергей — понять нельзя. Ясно, что он не любит, иначе он прожужжал бы все уши, рассказывая о своем увлечении. Впрочем, об этом он говорит только тогда, когда пьян, но я третьего дня видела его пьяным, он ничего не говорил о своей женитьбе.

На свадьбу я не пошла".

В воспоминаниях Анны Берзинь о Есенине есть и другие подробности. В частности, она пишет, что на другой день, после того как Пильняк провожал ее домой, Есенин и Толстая пришли к ней в гости.

Есенин быстро то ли напился, то ли притворился, что пьян, вышел в другую комнату, попросил, чтобы туда зашел Юрий Либединский, и вдруг с испуганным и напряженным лицом проговорил:

— Я поднял подол, а у нее ноги волосатые. Я закрыл и сказал:

— Пусть Пильняк. Я не хочу. Я не могу жениться!

Все это он почти прокричал, желая, видимо, чтобы невеста, сидящая в другой комнате, слышала этот крик. Но не на такую напал. Она сделала вид, что ничего не слышит.

А он продолжал жаловаться:

— Я человек честный, раз дал слово, я его сдержу, но поймите, нельзя же так — волосы, хоть брей.

И тут же словно забыв обо всем, что только что наговорил, перешел на другое: как справлять свадьбу, кого из гостей позвать и со смехом несколько раз повторил, что здорово все выйдет:

— Сергей Есенин и Толстая, внучка Льва Толстого!

Создается такое впечатление, что Есенин, окончательно и жестоко разрушив все надежды Бениславской на их совместную жизнь, в последний момент захотел дать задний ход, но ни сил, ни воли у него для этого не было. Он стал жертвой собственного поэтического легкомыслия. К тому же внучка Толстого, к тому же тихая квартира, семейное пристанище, которого у него никогда не было. Он метался от скандала к смирению от театрального бунта к фанфаронской подготовке свадьбы… А что испытывала в

это время Бениславская, знала только она сама да ее дневник.

Из дневника Бениславской:

“Погнался за именем Толстой — все его жалеют и презирают: не любит, а женился… даже она сама говорит, что, будь она не Толстая, ее никто не заметил бы… Сергей говорит, что он жалеет ее. Но почему жалеет? Только из-за фамилии. Не пожалел же он меня. Не пожалел Вольпин, Риту и других, о которых я не знаю… Ведь есть, кроме него, люди, и они понимают механизм его добывания славы и известности… Спать с женщиной, противной ему физически, из-за фамилии и квартиры — это не фунт изюму. Я на это никогда не смогла бы пойти…

Всегдашнее — “я как женщина ему не нравлюсь” и т. п. И после всего этого я должна быть верной ему? Зачем? Чего ради беречь себя? Так, чтобы это льстило ему? Я очень рада встрече с Л. Это единственный, кто дал мне почувствовать радость, и не только физически, радость быть любимой…”

Есенин сам, в конце концов, спровоцировал отчаянное решение Бениславской.

Их взаимоотношения в 1924 году часто достигали той черты, после которой они должны были разрушиться.

Есенин:

— Галя, Вы очень хорошая, Вы самый близкий, самый лучший друг мне, но я не люблю Вас как женщину. Вам надо было родиться мужчиной. У Вас мужской характер и мужское мышление.

Длинные ресницы Гали на минуту закрывали глаза, и потом, улыбнувшись, она говорила:

— Сергей Александрович, я не посягаю на Вашу свободу, и нечего Вам беспокоиться.

— Сергея, — пишет Александра Есенина, — всегда тяготила семейная неустроенность, отсутствие своего угла, которого он в сущности так и не имел до конца своей жизни.

Но и последняя женитьба не удалась.

О внучке Л. Толстого складывались разные мнения. Юрий Лебединский высоко ценил ее ум и образованность:

“В ее немногословных речах чувствовался ум, образованность, а когда она взглядывала на Сергея, нежная забота светилась в ее серых глазах… Нетрудно догадаться, что в ее столь явной любви к Сергею присутствовало благородное намерение стать помощницей, другом и опорой писателя”.

В июне 1925 года Есенин женился на С.А. Толстой и переехал к ней в большую мрачноватую квартиру со старинной, громоздкой мебелью, множеством портретов и музейных

реликвий.

Но и в этом браке он не был счастлив, а квартира просто тяготила его.

Так или иначе, поэт наконец-то обрел свой угол и рассчитывал зажить тихой, нормальной семейной жизнью. Но с этой иллюзией пришлось распроститься в первые же дни.

“Милый друг мой, Коля! — писал он Вержбицкому. — Все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться. Семейная жизнь не клеится, хочу бежать. Куда? На Кавказ!

…С новой семьей вряд ли что получится, слишком все здесь заполнено “великим старцем”, его так много везде, и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, даже на потолках, что для живых людей места не остается. И это душит меня…”.

Есенин попал не в дом, не в свою квартиру, а, по сути, в литературный музей. Живых людей натурально вытеснял в Померанцевом переулке дух Льва Николаевича Толстого. Есенин хорошо помнил свое юношеское “толстовство”, безоглядное увлечение “великим старцем”. Теперь же “старец” не просто напоминал о себе. Нет, он упрямо и настойчиво лез в глаза. Его фотографии и портреты всюду, куда ни посмотришь. И благоговейное отношение к великому деду — со стороны Софьи и ее матери — Ольги Константиновны.

Есенин полагал, что в этом доме центральной фигурой будет он — великий русский поэт, а оказалось…

Кроме того, он сразу же почувствовал крайне неприязненное отношение к себе со стороны тещи. Родственница генерала Дитерихса, командовавшего армией и фронтом в вооруженных силах колчаковской директории, проводившего расследование убийства царской семьи, она хранила тайну, боясь произнести лишнее слово. В доме соблюдались определенные традиции, поддерживался вековой уклад, и за всем этим таился естественный страх за свою судьбу. И вот в этот дом вламывается поэт с репутацией далеко не благополучной, с требованиями особого внимания к своей персоне… А еще и постоянные вспышки гнева, вызванные якобы невниманием к нему, писательские компании с водкой и чтением “советского”… Жестокие конфликты не заставили себя долго ждать.

— Надоела борода! Уберите бороду!.. Скучно!.. Раз борода, два, три, а тут — не меньше десятка! Надоело! К черту! — подобное приходилось слышать многим, посещавшим Есенина.

ЛЮБИМАЯ АКТРИСА А. МИКЛАШЕВСКАЯ

Актриса А. Миклашевская о своих встречах с Есениным:

“Познакомила меня с Есениным актриса Московского Камерного театра Анна Борисовна Никритина, жена известного в то время имажиниста Анатолия Мариенгофа. Мы встретили поэта на улице Горького, тогда Тверской. Он шел быстро, бледный, сосредоточенный… Сказал:

— Иду мыть голову. Вызывают в Кремль.

У него были красивые волосы — пышные, золотые… На меня он почти не взглянул.

Это было в конце лета 1923 года, вскоре после его возвращения из поездки за границу с Дункан.

С Никритиной мы работали в Московском Камерном театре. Нас еще больше объединило то, что мы обе не поехали с театром за границу: она — потому, что Таиров не согласился взять визу и на Мариенгофа, я — из-за сына.

С Никритиной мы были дружны и связаны новой работой. У них-то по-настоящему я и встретилась с Есениным. Он жил в этой же квартире.

В один из вечеров Есенин повез меня в мастерскую Коненкова. Обратно шли пешком. Долго бродили по Москве. Он был счастлив, что вернулся домой, в Россию. Радовался всему, как ребенок. Трогал руками дома, деревья… Уверял, что все, даже небо и луна, другие, чем там, у них. Рассказывал, как ему трудно было за границей.

— И вот, наконец, он все-таки удрал! Он — в Москве.

Целый месяц мы встречались ежедневно. Очень много бродили по Москве, ездили за город и там подолгу гуляли.

Была ранняя золотая осень. Под ногами шуршали желтые листья…

— Я с вами, как гимназист… — тихо, с удивлением говорил мне Есенин и улыбался.

Часто встречались в кафе поэтов “Стойло Пегаса” на Тверской, сидели вдвоем, тихо разговаривали. Есенин трезвый был очень застенчив. На людях он почти никогда не ел. Прятал руки, они казались ему некрасивыми.

Много говорилось о его грубости с женщинами. Но я ни разу не почувствовала и намека на грубость.

Все непонятнее казалась мне дружба Сергея Есенина с Анатолием Мариенгофом. Такие они были разные.

— Анатолий все сделал, чтобы поссорить меня с Райх. Уводил меня из дому, постоянно твердил, что поэт не должен быть женат: “Ты еще ватные наушники надень”. Развел меня с Райх, а сам женился и оставил меня одного… — жаловался Сергей.

Очень не нравились мне и многие другие “друзья”, окружавшие его. Они постоянно твердили ему, что его стихи, его лирика никому не нужны. Прекрасная поэма “Анна Снегина” вызывала у них иронические замечания: “Еще понюшку туда — и совсем Пушкин!” Они знали, что Есенину больно думать, что его стихи не нужны. И “друзья” наперебой старались усилить эту боль.

“Друзей” устраивали легендарные скандалы Есенина. Эти скандалы привлекали любопытных в кафе и увеличивали доходы.

Трезвый Есенин им был не нужен. Когда он пил, вокруг него все пили и ели на его деньги.

Как-то сидели в отдельном кабинете ресторана “Медведь” Мариенгоф, Никритина, Есенин и я. Он был какой-то притихший, задумчивый…

— Я буду писать вам стихи.

Мариенгоф смеялся:

— Такие же, как Дункан?

— Нет, ей я буду писать нежные…

Первые стихи, посвященные мне, были напечатаны в “Красной ниве”:

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Есенин позвонил мне и с журналом ждал меня в кафе.

Я опоздала на час, задержалась на работе. Когда я пришла, он впервые при мне был нетрезв. И впервые при мне был скандал.

Есенин торжественно подал мне журнал. Мы сели. За соседним столом что-то громко сказали по поводу нас. Поэт вскочил. Человек в кожаной куртке схватился за наган. К удовольствию окружающих, начался скандал…

Казалось, с каждым выкриком Есенин все больше пьянел. Вдруг появилась сестра его Катя. Мы обе взяли его за руки. Он посмотрел нам в глаза и улыбнулся. Мы увезли его и уложили в постель. Я была очень расстроена. Да что там! Есенин спал, а я сидела над ним и плакала. Мариенгоф “утешал” меня:

— Эх, вы, гимназистка! Вообразили, что сможете его

переделать! Это ему не нужно!

Я понимала, что переделывать его не нужно! Просто надо помочь ему быть самим собой. Я не могла этого сделать. Слишком много времени приходилось тратить, чтобы заработать на жизнь моего семейства.

О моих затруднениях Есенин ничего не знал. Я зарабатывала концертами.

Мы продолжали встречаться, но уже не каждый день. Начались репетиции в театре “Острые углы”.

Чаще всего встречались в кафе, каждое новое стихотворение он тихо читал мне.

В стихотворении “Ты такая ж простая, как все…” больше всего самому Есенину нравились строчки:

Что ж так имя твое звенит,
Словно августовская прохлада?..

Он радостно повторял их.

Как-то сидели Есенин, я и С. Клычков. Есенин читал только что напечатанные стихи:

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

С. Клычков похвалил, но сказал, что они заимствованы у какого-то древнего поэта. Есенин удивился:

— Разве был такой?

А минут через десять стал читать стихи этого поэта и хитро улыбался. Он знал этого поэта наизусть. Есенин очень хорошо знал литературу, поэзию. С большой любовью говорил о Лескове, о его замечательном русском языке. Взволнованно говорил о засорении русского языка, о страшной небрежности к нему в те годы. Он был очень образованным человеком, и мне было непонятно, когда и как он стал таким, несмотря на свою сумбурную жизнь.

Третьего октября 1923 года, в день рождения Есенина, я зашла к Никритиной. Мы все должны были идти в кафе. Но еще накануне Есенин пропал, и его везде искали. В. Шершеневич случайно увидел его на извозчике и привез домой. Сестра Катя увела его, не показывая нам.

Читая “Роман без вранья” Мариенгофа, я подумала, что

каждый случай в жизни, каждый поступок, каждую мысль можно преподнести в искаженном виде.

И вспомнилось мне, как в день своего рождения, вымытый, приведенный в порядок после бессонной ночи, Есенин вышел к нам в крылатке и широком цилиндре, какой носил Пушкин. Вышел — и сконфузился. И было в нем столько милого, детского. И ничего кичливого, заносчивого.

Взял меня под руку, чтобы идти, и тихо спросил:

— Это очень смешно? Но мне так хотелось хоть чем-нибудь быть на него похожим.

За большим, длинным столом сидело много разных его друзей, и настоящих и мнимых. Мне очень хотелось сохранить Есенина трезвым на весь вечер, и я предложила всем желающим поздравить Есенина чокаться со мной:

— Пить вместо Есенина буду я!

Это всем понравилось, а больше всего самому Есенину.

Он остался трезвым и очень охотно помогал мне незаметно выливать вино.

В театре “Острые углы” я играла в инсценированном рассказе О’Генри “Кабачок и роза”. Я сыграла женщину, абсолютно не похожую на меня в жизни. За кулисы Есенин прислал корзину цветов и маленькую записочку: “Приветствую и желаю успеха. С. Есенин. 27.X.23 г.”.

Очень не понравился мне самый маститый его друг — Клюев. По просьбе Есенина он приехал в Москву. Когда мы пришли в кафе, Клюев уже ждал нас с букетом. Встал навстречу. Волосы прилизанные. Весь какой-то ряженый, во что-то играющий. Поклонился мне до земли и заговорил елейным голосом. И опять было непонятно, что было общего у них, как непонятна и дружба с Мариенгофом. Такие они оба были не настоящие.

И оба они почему-то покровительственно поучали Сергея, хотя он был неизмеримо глубже, умнее их. Клюев опять говорил, что стихи Есенина сейчас никому не нужны. Это было самым страшным, самым тяжелым для Сергея, и все-таки Клюев продолжал твердить о ненужности его поэзии. Договорился до того, что, мол, Есенину остается только застрелиться. После встречи со мной Клюев долго уговаривал Есенина вернуться к Дункан.

Есенин познакомил меня с Михаилом Кольцовым, Литовским и его женой, с Борисовым. Встречи с ними всегда были интересными и носили другой характер, чем встречи с его “друзьями”.

В один из свободных вечеров большой компанией сидели в кафе Гутман, Кошевский и актеры, работавшие со мной. Есенин

был трезвый, веселый. Разыскивая меня, пришел отец моего сына. Все его знали и усадили за наш стол. Через секунду Есенин встал и вышел.

Вскоре он вернулся с огромным букетом цветов. Молча положил мне на колени, приподнял шляпу и ушел.

Через несколько дней опять сидели в кафе. Ждали Есенина, но его все не было.

Неожиданно он появился, бледный, глаза тусклые… Долго всех оглядывал. В кафе стало тихо. Все ждали, что будет.

Он чуть улыбнулся, сказал:

— А скандалить пойдем к Маяковскому.

И ушел.

Я знала, что Есенина все больше и больше тянет к Маяковскому, но что-то еще мешает им сблизиться.

С Маяковским я встречалась раза три, почти мельком. Но у меня осталось чувство, что он умеет внимательно и доброжелательно следить за человеком. В жизни он был другой, чем на эстраде.

Я жила в комнате вдвоем с сыном. Как-то вечером сидела у себя на кровати и что-то шила. В дверь постучали, и вошел Маяковский — “он был в гостях у соседей”. Попросил разрешения поговорить по телефону.

— Вы — Миклашевская?

— Я.

— Встаньте, я хочу посмотреть на вас.

Он сказал это так просто, серьезно, что я спокойно встала.

— Да… — сказал он.

Поговорил немного о театре и так, не дотронувшись до телефона, ушел. И хотя он ни словом не обмолвился о Есенине, я понимала, что интересовала его только потому, что мое имя было как-то связано с именем Есенина.

Маяковский думал о нем. Его волновала судьба Есенина.

Второй раз, увидев меня в антракте на каком-то спектакле, подошел, поздоровался и сказал:

— Дома вы гораздо интересней. А так я бы мог пройти и не заметить вас.

Мы встречались с Есениным все реже и реже. Увидев меня однажды на улице, он соскочил с извозчика, подбежал ко мне.

— Прожил с вами уже всю нашу жизнь. Написал последнее стихотворение:

Вечер черные брови насупил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?

Как всегда, тихо прочитал все стихотворение и повторил:

Наша жизнь, что былой не была…

Встречали Новый год у актрисы Лизы Александровой, были Мариенгоф, Никритина, Соколов — в то время — актер Камерного театра.

Позвонила Дункан. Звала Лизу и Соколова приехать к ней. Лиза ответила, что приехать не могут:

— Мы не одни, а ты не захочешь к нам приехать — у нас Миклашевская.

— Миклашевская? Очень хочу! Сейчас приеду!

Я впервые увидела Дункан близко. Это была очень крупная женщина, хорошо сохранившаяся. Я, сама высокая, смотрела на нее снизу вверх. Своим неестественным, театральным видом она поразила меня. На ней был прозрачный бледно-зеленый хитон с золотыми кружевами, опоясанный золотым шнуром с золотыми кистями, на ногах — золотые сандалии и кружевные чулки. На голове — зеленая чалма с разноцветными камнями. На плечах — не то плащ, не то ротонда, бархатная, зеленая. Не женщина, а какой-то очень театральный король.

Она смотрела на меня и говорила:

— Есенин в больнице, вы должны носить ему фрукты, цветы!.. — И вдруг сорвала с головы чалму. Произвела впечатление на Миклашевскую — теперь можно бросить!.. И чалма полетела в угол.

После этого она стала проще, оживленнее. На нее нельзя было обижаться: так она была обаятельна.

— Вся Европа знайт, что Есенин был мой муш и вдруг — первый раз запел про любоф — вам, нет, это мне! Там есть плохой стихотворень: “Ты такая ж простая, как все…” Это вам!

Болтала она много, пересыпая французские фразы русскими словами, и наоборот. То, как Есенин за границей убегал от нее. То, как во время ее концертов “напевает Шопена”, танцуя, она прислушивалась к его выкрикам, повторяя с акцентом русские ругательства. То, как белогвардейские офицеры — официанты в ресторане — пытались упрекать его за то, что он, русский поэт, остался с большевиками. Есенин резко одернул их:

— Вы здесь находитесь в качестве официантов! Выполняйте свои обязанности молча.

Уже давно пора было идти домой, но Дункан не хотела уходить. Стало светать. Потушили электричество. Серый, тусклый свет все изменил. Айседора сидела согнувшаяся, постаревшая и

очень жалкая.

— Я не хочу уходить, мне некуда уходить… У меня никого нет… Я одна…

Есенин уехал в Баку. Я выезжала со спектаклями и концертами в разные подмосковные города. Сезон 1924/25 года работала в Московском театре сатиры.

Есенин прислал с поэтом Приблудным “Москву кабацкую” с автографом “Милой Августе Леонидовне со всеми нежными чувствами, выраженными здесь”. В сборнике было напечатано семь стихотворений, собранных в цикл “Любовь хулигана”, с посвящением мне.

Приблудный надолго задержал книгу. Галя Бениславская заставила его принести ее и потом приходила проверить. Приблудный извинялся, что присланное мне письмо он передал Толстой. Так я и не получила письма.

Третьего октября 1924 года меня разбудили в восемь часов утра. Пришел Есенин. Мы уже встречались очень редко, но тревога за него была еще сильней. Он стоял бледный, похудевший.

— Сегодня день моего рождения. Вспомнил этот день прошлого года и пришел к вам… поздравить… Меня посылают в Италию. Поедемте со мной. Я поеду, если вы поедете.

Вид у него был измученный, больной. Голос — хриплый.

Мы шли по улице, и у нас был нелепый вид. У него на затылке цилиндр “очевидно, опять надел ради дня рождения”, на одной руке — лайковая перчатка, и я — с непокрытой головой, в накинутом на халат пальто, в туфлях на босу ногу. Но он перехитрил меня. Довел до цветочного магазина, купил огромную корзину хризантем и отвез домой.

Подолгу пропадал и опять появлялся. Неожиданно, окруженный какими-то людьми, приходил за кулисы на репетиции. Смирно сидел. Чаще — все бросали репетировать и просили его читать стихи.

Опять приехал ко мне на Никитскую и повез меня куда-то, за кем-то мы заезжали и ехали дальше, куда-то на окраину Москвы. Сидели в комнате с низким потолком, с небольшими окнами. Как сейчас вижу: стол посреди комнаты, самовар. Мы сидели вокруг стола. На окне сидела какая-то женщина, кажется, ее звали Анна. Есенин стоял у стола и читал свою последнюю поэму — “Черный человек”.

Он всегда хорошо читал свои стихи, но в этот раз было даже страшно. Он читал так, будто нас никого не было и как будто “Черный человек” находился здесь, в комнате.

Я видела, как ему трудно, плохо, как он одинок. Понимала,

что виноваты и я, и многие ценившие и любившие его. Никто из нас не помог ему по-настоящему. Он тянулся, шел к нам. С ним было трудно, и мы отходили в сторону, оставляя его одного.

В последний раз я видела Есенина в ноябре 1925 года, перед тем как он лег в больницу.

Был болен мой сын. Я сидела возле его кроватки. Поставила ему градусник и читала вслух.

Вошел Есенин и, когда увидел меня возле моего сына, прошел тихонько и зашептал:

— Я не буду мешать…

Сел в кресло и долго молча сидел, потом встал, подошел к нам:

— Вот все, что мне нужно, — сказал шепотом и пошел.

В дверях остановился:

— Я ложусь в больницу, приходите ко мне.

Я ни разу не пришла. Думала, там будет Толстая…

Во время встреч с Миклашевской у Есенина отходило куда-то в сторону все, что мучило его в эти месяцы, улетучивались тяжкие, невеселые думы, и сам он преображался на глазах.

Приблизительно в это же время, во время встреч с актрисой, Есенин начал нечто вроде повести или романа с явно автобиографической подкладкой. Сохранились из этого произведения лишь две машинописные страницы:

“Я очень здоровый и потому ясно осознаю, что мир болен, у здорового с больным произошло столкновение, отсюда произошел весь тот взрыв, который газеты называют скандалом.

В сущности, ничего особенного нет. История вся зависит от меня. Дело в том, что я нарушил спокойствие мира.

Обыкновенно в этом мире позволяется так. Первое: если ты мужчина и тебе 25 или 27 лет, то ты можешь жениться на женщине 20 или 22 лет. Если ты до супружества имел дело с такой-то и такой-то, то женщина твоя должна быть абсолютно “честной”, обладающей той плевой, которая называется “невинностью”.

Второе: если ты родился бедным, то работай в поле сохой или иди на фабрику. Если ты родился богатым, то расширяй свое дело и жми рабочих.

Этих человеческих законов можно привести без числа.

Когда я был маленьким, эти законы меня удручали, а когда я вырос, я оскорбился и написал письмо всему человечеству. “М. Г.”, эти договоры вы писали без меня, моей подписи нет на вашей бумаге. Посылаю вас к черту”. Один мой друг испугался того, что произведения его никогда не будут поняты, потому что он

вообразил, что человечество остановилось в своем развитии. Я человек оригинальный. Я не люблю захватывать чужие мысли. Но эта мысль удивительно похожа на то, что я думаю. Я не хочу этим оскорбить ни одного человека. “Каждого люблю я выше неба”, — как говорит один поэт, но сегодня в растворенное окно мое дует теплый весенний ветер… Я всматриваюсь в линии сердца и говорю: теперь она любит другого. Это ничего, любезные читатели, мне 27 лет, завтра или послезавтра будет 28. Я хочу сказать, что ей было около 45 лет.

Я хочу сказать, что за белые пряди, спадающие с ея лба, я не взял бы золота волос самой красивейшей девушки.

Фамилия моя древнерусская — Есенин. Если перевести ее на сегодняшний портовый язык и выискивать корень, то это будет — осень.

Осень! Осень! Я кровью люблю это слово. Я люблю ее, ту, чьи перчатки сейчас держу в руках, — вся осень”.

В воображении поэта образы двух любимых женщин — Айседоры и Августы — сливаются в одно неразрывное целое.

Сама любовь в стихах этого времени выглядит неземной, сказочной, напоминающей любовный мотив есенинских стихов рубежа 1915-1916 годов… только теперь вместо весенних и летних красок преобладают осенние, более соответствующие душевному состоянию поэта.

По-смешному я сердцем влип,
Я по-глупому мысли занял.
Твой иконный и строгий лик
По часовням висел в рязанях.

Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,
А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.

Не хочу я лететь в зенит,
Слишком многое телу надо.
Что ж так имя твое звенит,
Словно августовская прохлада?

ПОЕЗДКИ

Есенин стремился вырваться из гнилой атмосферы поэтических кабаков. Но этому мешали его бытовая неустроенность, мягкость характера, а более всего назойливые домогания непрошеных друзей. Поэт пытался сменить жилье, но где бы он ни поселился, его настигали любители шумных и не всегда трезвых компаний. Это отравляло его душу, мешало работать.

“Живу я как-то по-бивуачному, — жаловался он в одном из писем, — без приюта и без пристанища, потому что домой стали ходить и беспокоить разные бездельники. Им, видите ли, приятно выпить со мной! Я не знаю даже, как и отделаться от такого головотяпства, а прижигать себя стало совестно и жалко”.

Самым надежным средством избавления от назойливых спутников было исчезновение, хотя бы на время, из Москвы. И Есенин прибег к этому средству.

В апреле 1921 года поэт выехал из Москвы в Самару, затем в Ташкент. Далее он направился в Самарканд, посетил Бухару и вернулся в Ташкент. Ездил он со своим другом, ответственным работником Наркомата путей сообщения, имевшим служебный вагон.

В этом маленьком, синего цвета, с открытым тамбуром салон-вагоне, оставшемся еще от царских времен, когда в нем разъезжали сановники и министры, поэт и жил все время путешествия (длившегося около двух месяцев), и работал. Поездка оказалась весьма продуктивной в творческом отношении. На обратном пути Есенин уже заканчивал работу над поэмой “Пугачев”, которая в значительной своей части была написана в пути.

Большими событиями в жизни Есенина были его поездки в закавказские республики. За последние два года жизни он бывал там трижды, каждый раз набираясь новых впечатлений и с радостью отдавая себя творческому труду. Первая поездка растянулась на целое полугодие.

Выехав из Москвы в начале сентября 1924 года, Есенин до донца февраля 1925 года пробыл в Баку, Тифлисе, Батуме, причем в первых двух городах был по несколько раз. Он много печатался в закавказских газетах.

Дача, принадлежавшая ранее одному из бакинских нефтяных королей, Мухтарову, была величественной. Она принадлежала второму секретарю ЦК Азербайджана Петру Ивановичу Чагину, когда в Батуми был Есенин.

Из воспоминаний жены Чагина:

“В связи с болезнью свекрови мы в том году очень рано выехали в Мардакьяны на дачу. Было тихо. Дача была колоссальная: стройная тополевая аллея, несколько бассейнов. Один бассейн был очень красив, прямо сказочен. Он был огорожен круглой высокой каменной стеной, с чугунной витой решеткой наверху. Надо было подняться на высоту целого этажа по ступенькам до двери, ведущей в бассейн…”

“Поселил его на одной из лучших бывших ханских дач с огромным садом, фонтанами и всяческими восточными затейливостями — ни дать, ни взять — Персия!” — вспоминал впоследствии Чагин. Куда там особнякам Айседоры рядом с дворцами бывших российских миллионеров, перешедшими в руки новой знати.

Есенин хмурился, мрачнел лицом, вспоминал о сгоревшей константиновской избе, которая кое-как отстраивается на присылаемые им пятерки и десятки, о том, что, когда он вернется в Москву — нельзя будет приткнуться в какой-нибудь лично ему принадлежащий угол. Опять жить приживальщиком при Бениславской, ютиться вчетвером в одной комнатушке или переезжать к нелюбимой Толстой. Или опять напрашиваться в Богословский переулок к осточертевшему Мариенгофу. Даже вещи и рукописи некуда собрать — что-то у Бениславской, что-то у Наседкина, шуба зимняя в Питере у Сахарова, чемодан с бумагами у Вардина. Тьфу! А ведь не раз ходил в Моссовет и у Каменева был, и к Калинину ездил, и в секретариате у Троцкого пороги околачивал. Шишки они все такие же, как и Киров, не меньше. И стихи любят и делают вид, что понимают… А на деле — никому он не нужен, только себе, Пушкину да Гоголю…

В письмах из Батума в Москву поэт сообщал:

“Работается и пишется мне дьявольски хорошо. До весны я могу и не приехать. Меня тянут в Сухум, Эривань, Трапезунд и Тегеран, потом опять в Баку”.

И в другом письме:

“Только одно во мне сейчас живет. Я чувствую себя просветленным, не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия… Я скоро завалю Вас материалом. Так много и легко пишется в жизни очень редко. Это просто потому, что я один и сосредоточен в себе. Говорят, я очень похорошел. Вероятно, оттого, что я что-то увидел и успокоился.

Его стихи сочетают в себе тонкое мастерство изображения природы, простоту и ясность сюжетов, живость передачи разнообразных, нередко драматических, настроений. Основная

тема цикла — тема любви, любви неподкупной, праздничной, глубокой. Тема эта воплощена в стихах чрезвычайно своеобразных по колориту, лексике, построению образов.

Природа и люди выступают здесь в ореоле восточной экзотики, которая лишена традиционности и штампов: синие цветы Тегерана, дорожная чайхана, уличный меняла, “свет вечерний шафранного края”, сады и стены Дорасана — все это, как бы увиденное самим поэтом, воссоздано с силой живого, непосредственного впечатления. Особенность цикла еще и в том, что экзотические пейзажи даны в сочетании и в контрасте со скромной, но привлекательной красотой северной русской природы:

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий,
Потому, что я с севера, что ли.

Из батумских писем Сергея Есенина Г. Бениславской, А. Берзинь, П. Чагину, Н. Вержбицкому, написанных в декабре — январе 1924-1925 годов:

“С чего это распустили слухи, что я женился? Вот курьез! Это было совсем смешно… Я сидел просто с приятелями. Когда меня спросили, что это за женщина — я ответил — моя жена. — Нравится?

— Да, у тебя губа не дура.

Вот только и было, а на самом деле сидела просто надоедливая девчонка — мне и Повицкому, с которой мы даже не встречаемся теперь” (А. Берзинь).

“Идет дождь тропический, стучит по стеклам. Я один. Вот и пишу, и пишу… Увлечений нет. Один. Один. Хоть за мной тут бабы гоняются. Как же? Поэт ведь. Да какой еще, известный. Все это смешно и глупо” (Г. Бениславской).

“Завел новый роман, а женщину с кошкой не вижу второй месяц. Послал ее к черту. Да и вообще с женитьбой я просто дурака валял. Я в эти оглобли не коренник. Лучше так, сбоку,

пристяжным. И простору больше, и хомут не трет, и кнут реже достает” (Н. Вержбицкому).

“Miss Olli отдали мы — ее кошке. С ней ей уютней. Нам она не ко двору” (Н. Вержбицкому).

Эти отрывки проясняет А.А. Лаппа-Старженецкая, знавшая Есенина и его окружение в Батуми:

“У самого синего Черного моря на углу улиц Бульварной и Воскресенской стоял и поныне стоит трехэтажный дом княгини Тамары Михайловны Накашидзе. В нижнем этаже этого дома разместилось представительство англо-американской фирмы “Стандарт ойл”.

В те годы в Грузию, особенно в Батум, стекалось множество беженцев из России, женщин из богатых семей, перепуганных победоносным шествием большевистской армии.

Из Батума тогда можно было свободно выехать за границу. Многие выехали, но многие осели в городе.

Большинство женщин, не привычных ни к какому труду, хотя и образованных, предпочли “веселиться” и вести легкую жизнь. Вот в этом-то акционерном обществе эти женщины были желанными гостьями.

Когда рассказывающая мне об этом Мария Михайловна Громова навестила свою знакомую Накашидзе с целью снять у нее комнату внизу, та ответила: “Что вам там нужно? Там “бордель”, конечно, негласная”.

Вот в этой-то бордели встречался Сергей Есенин в бытность свою в Батуме со всеми женщинами, которые его осаждали, в том числе и с Ольгой Кобцовой, и с Есауловой, Соколовской, Шагане Тертерян. А не в “обществе педагогов”, как говорит Шагане, ибо в двухклассной армянской школе, где она временно работала групповодом “нулевки”, не было никаких педагогов, кроме ее сестры Катры.

Помимо этой бордели, была другая, у массажистки Иоффе, где очередь стояла из матросов, прибывающих в Батум на океанских иностранных пароходах”.

Упомянутую Ольгу Кобцову Есенин называл “мисс Оль” — не только от имени ее, а и от “Стандарт ойл” — места их знакомства и встреч”

Не так уж замкнуто и одиноко жил Есенин, как он пишет об этом в Москву Бениславской. Одиночество, как всегда, было внутренним, а не внешним его состоянием. Были в Батуме и попытки драки, и другие всевозможные чудачества.

Однажды, гуляя по бульвару, он увидел двух женщин, сидящих на скамейке. Он направился к ним, взяв по пути у мальчика — чистильщика обуви его ящик, и опустился перед

женщинами на колено.

— Разрешите, сударыни, почистить вам туфли.

Дамы узнали Есенина, сконфузились, стали отказываться, поэт элегантно настаивал на своем, пока к нему не подошел Лев Повицкий и не прибегнул к неотразимому аргументу:

— Сергей Александрович, последний футуристик не позволит себе того, что Вы сейчас делаете.

Есенин вспыхнул и отказался от своей затеи.

Тот же Лев Повицкий помог развязаться с “мисс Оль”, которая вместе с ее родными была, как вспоминает есенинский друг, причастна “к контрабандной торговле с Турцией, а то еще, может быть, и к худшему делу”.

Повицкий поделился своими опасениями с Есениным; поэт уже стал похаживать к “мисс” и ее родителям в гости. “Мисс” догадалась, что Повицкий “уводит” от нее поэта. И однажды, когда Есенин, сидевший с девушкой за столиком ресторана, пригласил проходящего мимо Повицкого присесть, “мисс Оль” с вызовом сказала:

— Если Лев Осипович сядет, я сейчас же ухожу.

Есенин криво улыбнулся, прищурил глаза и медленно проговорил:

— Мисс Оль, я вас не задерживаю. — Так закончился странный роман Есенина, роман явно “литературного” происхождения, с дочерью контрабандистов.

“Батум — город небольшой, и я, — вспоминала А. Лаппа-Старженецкая, — часто встречала его на улице и всегда слышала от него одну и ту же тоскующую фразу: “В Москву хочу, все мне здесь опостылело… черного хлебушка хочу… Русского хлебушка…” Но вот однажды встречаю его оживленным, радостным… Весело пожимает мне руку, говорит:

— Еду, еду, Анна Алексеевна, еду в Москву, стосковался… Домой, домой!

Никогда Есенин не приезжал так часто в родную деревню, как в последние годы жизни. В 1924 году он был там два раза, в 1925 — пять раз и собирался в шестой. Сестра поэта, Александра Есенина, рассказывает:

— Он приезжал в деревню, чтобы в тишине работать над стихами, чтобы вновь и вновь ощутить привычную ему с детства обстановку тихой деревенской жизни… Работал он своеобразно: долго, иногда часами, ходил по комнате из угла в угол, обдумывая стихи. Обдумав строчку, он садился и записывал ее, потом вставал и вновь ходил по комнате.

В последний год жизни были у Есенина и поездки в его

родную деревню. Приехав к родным в мае 1924 года, поэт не застал отцовского дома: он сгорел во время большого пожара в августе 1922 года, когда Есенин был за границей. На огороде соорудили небольшую хибару, в которой жили, пока строился новый дом. Разместиться в ней вчетвером с родителями и сестрой было трудно — спать Есенин отправлялся в ригу или в амбар. Работать же приходилось в хибаре, так как в дворовых постройках, на сене или среди хозяйственной утвари, нельзя было ни зажечь лампу, ни курить. Но Сергея это не смущало; он был счастлив, что находится дома, среди своих.

— Сергей был общительным и ласковым, — сообщает сестра Есенина — А. Есенина. — Приезжая в деревню, он собирал соседей, подолгу беседовал с ними, шутил. Любил он поболтать и с нищими, и с калеками, и со всяким другим прохожим людом. Он говорил не раз, что встречи дают ему как поэту очень много: в беседах он черпает новые слова, новые образы, познает подлинную народную речь.

Сила Есенина в том, что интимнейший уголок своего внутреннего мира он смог выразить а словах обыденных, неброских, но пронизанных истинным трепетом души и потому безраздельно покоряющих читательское сердце. Вспомним его “Письмо матери”, ласковое и умиротворенное, полное горького сознания вины перед матерью и надежды на щедрость материнского сердца:

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, —
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.

— В стихах моих, — предупреждал Есенин, — читатель должен главным образом обращать внимание на лирическое чувствование и ту образность, которая указала путь многим и многим молодым поэтам и беллетристам. Этот образный

строй, — продолжал Есенин, — живет во мне органически так же, как мои страсти и чувства.

ОТНОШЕНИЯ С РОДНЫМИ

23 декабря 1925 года, перед роковой поездкой в Ленинград, Есенин разговаривал с писателем Александром Тарасовым-Родионовым. Жаловался, что у него совсем нет близких людей, ругал свою сестру “Катьку” за то, что она требует, чтобы брат помогал ее мужу Василию Наседкину в его литературной карьере:

— Я прогнал ее с глаз долой и больше знать о ней не хочу. Такая же она, как и все остальные. Такая же, как и мать с отцом. Ты думаешь, они меня любят? Они меня понимают? Ценят мои стихи? О, да, все они ценят и жадно ценят, почем мне платят за строчку. Я для них неожиданная радость: дойная коровенка, которая сама себя кормит и ухода не требует и которую можно доить вовсю. О, если бы ты знал, какая это жадная и тупая пакость, крестьяне. Вот видишь: поддержки в семье я не встречу. Друзья — свора завистников или куча вредного дурачья: я не могу здесь работать. Меня все раздражает.

Есенин был возбужден, пьяноват, но, как говорится, что у трезвого — на уме, то у пьяного — на языке.

Тарасов-Родионов посоветовал ему ехать в деревню…

— О, нет, только не в деревню, — и в глазах Есенина метнулись искорки страха. — В деревне, кацо, мне все бы напоминало то, что мне омерзительно опротивело. О, если бы ты только знал, какая это дикая и тупая, чисто звериная гадость, эти крестьяне. Из-за медного семишника они готовы глотку перервать друг другу. О, как прав Ленин, когда он всю эту жадную мужичью мразь согнул в бараний рог.

Его собеседник возразил:

— Ну, братец мой, Ленин не особенно-то был сторонником того, чтобы гнуть крестьян в бараний рог, и вообще, ты зря перегибаешь палку.

Раздраженный и усталый Есенин не стал спорить:

— Ну, коль не Ленин, то — Троцкий.

Очень раздражало Есенина, когда в Москву из деревни приезжал отец, жаловался на то, что из-за дождей сгнило сено, что не уродилась картошка. Сын слушал отцовские жалобы и поправлял отца, мол, во время сенокоса стояла солнечная погода, негодовал на то, что у всех на Рязанщине картошка родится, а у отца недород.

— Я для вас — мошна. Вот помру — и не по мне заплачете, а по мошне…

Однажды вытащил из-под подушки книгу и вслух прочитал о каком-то барышнике, который попал под поезд. Его несут на

операционный стол, а он все волнуется: где сапог с отрезанной ногой, там, в сапоге, у него ассигнация… Укоряюще смотрит на отца, потом дает ему денег и выпроваживает в деревню. Да, бывало и так. И об этом лучше, чем все мемуаристы, написал сам Есенин в 1924 году.

Передо мной
На столике угрюмом
Лежит письмо,
Что мне прислала мать.

Конечно, столик стал “угрюмым” лишь потому, что полученное письмо повергло его в угрюмое состояние:

Она мне пишет:
“Если можешь ты,
То приезжай, голубчик,
К нам на святки.
Купи мне шаль,
Отцу купи порты,
У нас в дому
Большие недостатки”.

Мать укоряет сына за то, что он “свою жену легко отдал другому”, жалуется на несбывшиеся надежды: “…У отца была напрасной мысль, чтоб за стихи ты денег брал побольше”, сетует, что у них “нет лошади”, и что самое обидное — ей не нравится, что ее сын — поэт, а ведь мог бы занимать “пост председателя в волисполкоме”…

Можно себе представить отчаяние и ярость Есенина, получившего такое письмо! Ведь еще несколько лет тому назад он, обращаясь к матери, звенел, восторгался, торжествовал:

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Он знал: отцу и матери “наплевать на все мои стихи”, отчаивался: “О, если б вы понимали, что сын ваш в России самый лучший поэт”, и все же надеялся, что они в роковую минуту защитят сына от его врагов и ненавистников: “Они бы вилами

пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня”… И вот прошли годы, все его пророчества сбылись — он стал вопреки всем и самым лучшим и самым знаменитым поэтом России! И вдруг… мать жалеет, что ее сын не стал председателем волисполкома, ей не нравится, что он поэт.

Я комкаю письмо,
Я погружаюсь в жуть.
Ужель нет выхода
В моем пути заветном?

В ответе матери он просто срывается на крик:

Забудь про деньги ты,
Забудь про все.
Какая гибель?!
Ты ли это, ты ли?
Ведь не корова я,
Не лошадь, не осел,
Чтобы меня
Из стойла выводили!

С.Н. Соколов вспоминал:

“Как это ни покажется сейчас странным, но так получалось, что Есенин, стихи которого уже тогда переводились на иностранные языки, в своем родном селе был как поэт малоизвестен. Все здесь смотрели на него как на односельчанина, наезжающего летом погостить из города. Нам, местным учителям, даже не пришло в голову шире познакомить константиновцев с поэзией Есенина. Ни разу не устроили мы и литературного вечера, когда он бывал в селе. Говорить об этом теперь приходится с болью, сожалением и грустью. Кто знает, может быть, видя такое “внимание” к своему творчеству со стороны нас, односельчан, Есенин временами с грустью думал о том, что

Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Драма непонимания, отношение к нему семейных лишь как к добытчику, всю жизнь кровоточащей раной отзывались в душе Есенина. Этой кровью написаны многие его строки “Руси советской”:

И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.

К сожалению, следует сказать, что отношения родных к гению всегда однозначны: часто непонимание, а и то просто равнодушие. Об этом говорят истории жизни почти всех гениев, и Есенин не был в этом случае исключением. Просто он об этом не знал по причине своей необразованности и жаловался на подобное отношение как бы понапрасну. А что касается требования денег со стороны родных, то и здесь к этому ему следовало бы отнестись вполне спокойно: обычное дело. А как иначе? Родственники видели, сколько он пропивал и проматывал денег и почему бы ему не дать денег на новую избу?

Есенин жаловался на родных за то, что они просили у него денег на свои нужды, а сам он вытягивал деньги у Дункан и проматывал немалые ее средства на гулянки, но об этом он не помнил, когда жаловался на своих родных за то, что отсылал им “пятерки и десятки” на новую избу.

ДУШЕВНЫЙ КРИЗИС

Реальные обстоятельства жизни поэта, сложившиеся к середине 1925 года, мало способствовали положительной эволюции его духовного мира. На смену плодотворнейшему периоду литературной деятельности Есенина, на смену радостным, светлым дням его жизни пришла новая, теперь уже кратковременная полоса душевного кризиса. Его творчество снова окрасилось в тона безысходной драматичности, пессимизма. Есенин — вновь подпал под влияние богемы — гнилой, отравленной среды, которую запечатлел в образе гнусавого “черного человека”; эта зловещая, мрачная тень является к поэту напоминать и твердить, что он “пропойца и забулдыга”, “скандальный поэт”, рождающий “дохлую томную лирику" (поэма “Черный человек” была закончена в ноябре-декабре 1925 года). Именно такую славу пытались создать Есенину его пресловутые друзья, опять втянувшие его в алкогольную муть непутевых вечеров и скандалов.

На сей раз вырваться из этой мути ему не удалось: отчаяние привело к роковому концу.

Бивуачный быт и скитальчество преследовали Есенина в разные периоды жизни, особенно болезненно сказались они на его судьбе в последние месяцы 1925 г .

Порвав с Мариенгофом и уехав от него, Есенин не имел никакого пристанища: ночевал то в “Стойле Пегаса”, то у друзей. Потом он поселился у Галины Бениславской.

Бениславская занимала небольшую комнату в коммунальной квартире на седьмом этаже дома работников “Правды” в Брюсовском переулке. Комната была уютной, с отличным видом на Нескучный сад и Воробьевы горы, но оказалась тесной для тех, кто ее занимал. Раньше других, с осени 1924 года, в ней стала жить, кроме самой Галины, сестра поэта Катя, приехавшая из деревни в Москву учиться. Потом туда переселился Есенин, затем появилась младшая сестра Шура. Несколько дней в марте 1925 года прожила там и мать поэта, приехавшая погостить у детей.

По возвращении из деревни Есенин разорвал отношения с Бениславской.

Оскорбленная и униженная Галина в своих воспоминаниях окончательно расшифровала ту трагедию, которую она в это время молча переживала:

“…Все изменилось в марте 1925 г . после его приезда с Кавказа. Я больше не могла выдумывать себе увлечения, ломать себя, тогда как я знала, что по-настоящему я люблю С. А. и никого

больше. Единственное сильное чувство, очень бурно и необузданно вспыхнувшее к Л., я оборвала сама. Из-за нескладности и изломанности моих отношений с С. А. я не раз хотела уйти от него как женщина, хотела быть только другом. И перед возвращением его с Кавказа я еще раз решила, что как женщина уйду от него навсегда. И поэтому, закрыв глаза, не раздумывая, дала волю увлечению Л. И даже это я оборвала сразу, как только поняла, что от С. А. мне не уйти, эту нить не порвать…”

Под инициалом “Л.” Бениславская имела в виду сына Троцкого Льва Седова. Сестра поэта Шура считала, что самоубийство Бениславской было обусловлено не только смертью Есенина, но и несостоявшимся браком с сыном Троцкого, а также тем, что при разделе есенинского наследства она, в сущности, бывшая несколько лет и литературным секретарем, и другом Есенина, которую временами он даже представлял как свою жену, оказалась ни при чем.

Когда до поэта дошло известие, что у Бениславской серьезный роман с Львом Седовым, он просто взбеленился.

Раньше он с порога отметал всякие нашептывания насчет того, что его подруга служит в ВЧК и что с ней надо быть поосторожнее. Не верил никаким слухам о возможной слежке за собой с ее стороны — знал Галину достаточно хорошо. Но сын Троцкого! Опять его пытаются затянуть в какое-то пакостное болото. Достаточно одной Берзинь, у которой личные отношения всегда сопровождаются “политикой”. Но от Бениславской не ожидал…

Хватит! Собрав вещи, переехал на квартиру к Наседкину. Но сколько же можно мотаться по чужим углам? Часть вещей и бумаг у Сахарова. Часть — еще где-то. Ни угла, ни пристанища. Даже присесть поработать стало негде.

Еще раньше у Есенина завязались весьма серьезные отношения с Ириной Шаляпиной — дочерью великого русского певца.

Отношения, как можно предположить, развивались бурно и весьма драматично. Никто уже не скажет, с чего они начались и что послужило толчком к разрыву. Достоверно известно, что Есенин написал более двух десятков писем, адресованных Ирине Федоровне, которая уничтожила их — все до одного.

Надо бежать. Вон из Москвы, и чем скорее, тем лучше. Куда? Можно на Кавказ, где его примут с распростертыми объятиями. А то — в Италию, к Горькому… О многом тогда они в Берлине не договорили. В Италию было бы здорово! Только там он хоть чуть-чуть отдохнул во время путешествия с Айседорой.

Горький, передавали, им интересуется. Просит прислать стихи, кажется, собирается что-то написать. Сам же Есенин читал все, что Алексей Максимович присылал Воронскому — “Автобиографические рассказы”, воспоминания об Анне Николаевне Шмидт… Он собрался и даже начал писать письмо, которое так и осталось неотосланным:

“Скажу Вам только одно, что вся Советская Россия всегда думает о Вас, где Вы и как Ваше здоровье. Оно нам очень дорого. Посылаю Вам все стихи, которые написал за последнее время. И шлю привет от своей жены, которую Вы знали еще девочкой по Ясной Поляне. Желаю Вам много здоровья, сообщаю, что все мы следим и чутко прислушиваемся к каждому Вашему слову”.

По горькой иронии судьбы в это же самое время Горький, прочтя роман Сергея Клычкова “Сахарный немец”, писал в письме, адресованном Бухарину.

“Надо бы, дорогой товарищ, Вам или Троцкому указать писателям-рабочим на тот факт, что рядом с их работой уже возникает работа писателей-крестьян и что здесь возможен, — даже, пожалуй, неизбежен конфликт двух “направлений”. Всякая цензура тут была бы лишь вредна и лишь заострила бы идеологию мужикопоклонников и деревнелюбов, но критика — и нещадная — этой идеологии должна быть дана теперь же. Талантливый трогательный плач Есенина о деревенском рае — не та лирика, которой требует время и его задачи, огромность которых невообразима…”

Бухарин постарался, выдал на-гора “нещадную критику”…

Но Италия пока далеко. Баку с Чагиным поближе. “Дорогой Петр Иванович! Вязну в хлопотах и жду не дождусь того дня, когда снова предстану у врат Бакраба… Завидую тебе за те звездочки, которые ты можешь считать не на небе, а на земле…” Скоро, скоро увидимся за коньячком, Петр Иваныч! А пока — сплошь заботы по собранию. Три тома будет. В первом — лирика, во втором — “маленькие поэмы”, в третьем — большие вещи. И пусть тогда кто-нибудь заикнется про “исписавшегося” Есенина. Это собрание всех поставит на место!

В Госиздате созрела идея выпустить в свет есенинское собрание сочинений. Идея замечательная, сулящая обоюдную выгоду. Поэт одним махом решал свои материальные проблемы. Более того, это издание явилось бы достойным венцом длительного периода его творческой деятельности — более чем за 10 лет. Собрание обещало прибыль и славу. И в Госиздате прекрасно знали, что внакладе не останутся — есенинские книги расходились мгновенно. Поначалу поэту предлагали шесть тысяч, и он уже почти согласился, но тут вмешался Наседкин. Благодаря

его настоянию и долгим увещеваниям договор был подписан на 10 тысяч.

Есенин договорился с Евдокимовым, давшим “добро” быть редактором собрания, о выплате аванса, из которого, правда, получил лишь небольшую часть: “денег в Госиздате не было”, и уехал в Константиново.

Родные радовались, показывали новый дом, расспрашивали про московскую жизнь и, конечно, интересовались насчет деньжат. Остальные смотрели с любопытством — как же, Серега приехал, столичный житель, писатель… И свой вроде и — чужой.

Галя Бениславская, вспоминая одну из таких поездок вместе с Есениным, Сахаровым и Наседкиным, красочно расписывала дурное поведение Есенина в деревне. Дескать, пил без удержу, играл ряженого, одевшись в сестринское платье, издевался над стариками, таскал ее по всей деревне, то в кашинский сад, то еще куда-то… Он действительно был в угнетенном душевном состоянии, бродил по родным местам, прощался с молодостью. Снова и снова переживал, вглядываясь в изменившийся до полной неузнаваемости облик милой стороны.

Поэт наскоро сваливает в кучу стихи, поэмы, рукописи, вырезки… Евдокимов пожимает плечами:

— Сергей! Разве можно так работать?

— Да мне лишь бы поскорее! Ладно, разберем, составим как следует. Пока вот то, что есть, а композицию наметим.

В этой лихорадочности и торопливости близкие и знакомые видели только одну прогрессирующую болезнь. Разрабатывается план “лечения”, то есть помещения Есенина в клинику. План этот вынашивают Наседкин с Екатериной и, конечно, Берзинь с Вардиным. С другой стороны, Чагин пишет письмо зав. отделом печати ЦК Иосифу Варейкису о необходимости отправить Есенина за границу для поправки здоровья.

В то время, когда друзья и знакомые сплетничали о вечном беспробудном пьянстве поэта, он работал как одержимый. Около сотни первоклассных стихотворений, не считая крупных поэм, за последние два года! Работал, как священнодействовал: мыл голову, приводил себя в порядок, ставил на стол цветы, поддерживал силы крепким чаем… А после работы — веселая компания, в которой — он это прекрасно знал — в лицо льстят, а за спиной говорят гадости. Он выпивал один-два стакана, после чего развязывался язык и пропадала всякая напускная вежливость. Когда находился в обычном состоянии, современники не видели более деликатного и нежного человека, который был сдержан и улыбался, разговаривая даже со своими врагами. После первой же рюмки отпускал все тормоза. Делал это

сознательно, давая окружающим возможность списать все на “болезнь”. Каждый скандал имел в основе своей серьезнейшую причину, когда Есенин разом вспоминал все сказанное и содеянное по отношению к нему. И тут уж не было удержу его чувствам.

Почти во всех случаях это был больше театр, чем натуральные выходки пьяного человека. Но все работало на создание репутации, а в душу свою поэт не позволял заглядывать почти никому и приоткрывался изредка ровно настолько, насколько сам считал нужным.

Вольф Эрлих вспоминал одно из посещений “Стойла Пегаса”, когда Есенин, вошедший в это столь хорошо знакомое и донельзя опротивевшее заведение, тяжело опустился на стул и повел вокруг глазами, в одну минуту покрывшимися мутной поволокой.

— Пока сидит Есенин, все — настороже. Никто не знает, что случится в ближайшие четверть часа: скандал? безобразие? В сущности говоря, все мечтают о той минуте, когда он, наконец, подымется и уйдет.

А последняя фраза Эрлиха ставит все точки над “и”:

— И все становится глубоко бездарным, когда он уходит.

Исаак Бабель, хладнокровный, трезвый, прагматичный человек, отнюдь не богемного склада, — и тот попал под влияние Есенина, когда во время одной из встреч с поэтом, покоренный его неистовой внутренней силой, вихрем, в коем поэт всех закручивал вокруг себя, принял участие в веселой пьянке, после чего не мог вспомнить, как попал домой без шляпы и бумажника. Потом только и вспоминал песню, которую пел Есенин на свою собственную мелодию и от которой и женщины, и мужчины плакали, не стыдясь и не утирая слез.

Эх, любовь-калинушка, кровь — заря вишневая,
Как гитара старая и как песня новая.
……
Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха —
Все равно любимая отцветет черемухой.

Я отцвел, не знаю где. В пьянстве, что ли? В славе ли?
В молодости нравился, а теперь оставили.

Потому хорошая песня у соловушки,
Песня панихидная по моей головушке.

Цвела — забубенная, была — ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

Минуты печали сменялись минутами безудержного веселья и такое состояние продолжалось у Есенина в Баку, куда он снова отправился.

Оно оканчивалось подчас весьма печально. “Дружище Сергей, — писал Чагин, — ты восстановил против себя милицейскую публику (среди нее, между прочим, партийцы) дьявольски. Этим объясняется, что при всей моей нажимистости два дня ничего не удавалось сделать, видимо, из садистических побуждений милиция старалась тебя дольше подержать в своих руках”.

А всего-то навсего Есенин, поссорившись с Толстой, вышел на улицу, подхватил какую-то домашнюю собачку и заявил хозяйке, что отправится с ней гулять. Он тянулся к любой домашней живности — встретив на городской панели лошадь, подолгу шепотом беседовал с ней или искал бездомных собак, для которых у него в кармане всегда была приготовлена какая-нибудь снедь. В расхристанном душевном состоянии решил побеседовать с чужой собачонкой, ну и нарвался на очередную неприятность. “Сижу со своим благоверным, — отписала Толстая Наседкину, — с Божьей помощью четырнадцать часов в 5-м районе милиции города Баку… Он весь, весь побитый, пораненный. Страшно милый и страшно грустный”.

Пружина сжималась все туже и туже, а Есенин успокаивал нервы вином, гнал от себя дурные предчувствия и сидел в Мардакьянах, ожидая случая махнуть куда-нибудь подальше. И тут приходит извещение из Госиздата — необходимо срочно быть в Москве, сдавать рукопись собрания в окончательном виде.

— Классиком становлюсь. Надо все сделать как следует, — Есенин бросается в Москву.

Но его преследует какой-то рок. Не успел доехать до столицы, как влип в очередную историю.

Из рапорта дипломатического курьера НКИД Адольфа Рога:

“На обратном пути моей последней командировки, в поезде начиная от Баку было несколько случаев попыток ворваться в занимаемое нами купе Есенина, известного писателя. Причем при предупреждении его он весьма выразительными и неприличными в обществе словами обругал меня и грозил мордобитием, сопровождая эти слова также многообещающими энергичными жестами, которые не были пущены полностью в ход благодаря сопровождавшему его товарищу. По всем наружным признакам

Есенин был в полном опьянении, в таком состоянии он появлялся в течение дня несколько раз…

По дороге освидетельствовать состояние Есенина согласился врач Левит, член Моссовета, но последнего Есенин не подпустил к себе и обругал “жидовской мордой”.

Левит также засвидетельствовал, что Есенин “всю дорогу пьянствовал и хулиганил в вагоне”. Сам же Есенин, давая показания по адресу дипкурьера Рога, отметил, что “сей гражданин пустил по моему адресу ряд колкостей и сделал мне замечание на то, что я пьян. Я ему ответил теми же колкостями… Гр. Левита я не видел совершенно и считаю, что его показания относятся не ко мне… Гр. Левит никаких попыток к освидетельствованию моего состояния не проявлял…”.

В Москву приехал нервный и взвинченный, но благо, был повод быстро успокоиться. Закипела работа над собранием сочинений. Поэт регулярно появлялся в издательстве у Евдокимова, где они обсуждали план собрания, обдумывали композицию, разбирали рукописи. Есенин унес гору бумаг в Померанцев переулок, подключил к работе Толстую… Но долго и усидчиво заниматься рукописью не мог. Накатил очередной прилив творческого вдохновения, и он не столько работал над собранием, сколько над новыми стихами.

Но как только проходило вдохновение и приходилось возвращаться к обыденной жизни, поэт поистине места себе не находил.

На горизонте маячил новый суд. Самого его не покидало ощущение непрестанной слежки и очередных провокаций.

Работа была напряженная. Есенин сидел в библиотеке, просматривал старые публикации, потом брался за разбор рукописей. Проставлял даты, вычеркивал, снова проставлял.

В конце концов, сделал два тома.

Дмитрий Фурманов, один из редакторов Госиздата, настоял на том, чтобы Есенин приложил к собранию свою автобиографию. Есенин, проклиная все на свете, взялся писать се, переписывая целыми кусками свои прежние автобиографии. Получилась полная “липа”, но лишь бы отвязались, наконец, лишь бы поскорее запустить тома и получить гранки.

Сдача в производство была намечена на ноябрь. Окончательную проверку дат и шлифовку всей работы Есенин отложил до корректуры.

Навестил Зинаиду Райх и детей. Как со взрослой поговорил с Танечкой, возмутился бездарными детскими книжками, которые его ребятишки читают. Произнес: “Вы должны знать мои стихи”. Очередной разговор с Райх закончился скандалом и слезами.

“Требует, тянет, как из бездонной бочки. Можно подумать, впроголодь живет. Это за спиной у Мейерхольда!”

Есенин жаловался в эти дни и на охватившую его тоску, и на то, что ему трудно работать, потому что у него “нет соперников”, и что ему “надоело все”… Подобные минуты проходили, настроение менялось, он оживлялся и преображался, чтобы через какое-то время снова впасть в удрученное состояние. Травля в газетах, недоброжелательный отзыв Горького о поэзии Есенина, постоянные “критические” высказывания “друзей” — поэтов, что лирика Есенина сегодня “не ко двору”, она не для пролетариев, постоянные вызовы в милицию за хулиганские поступки, повестки в суд, душевное одиночество, что свойственно гениям, вызывали у поэта приступы истерии с уклоном в шизофрению. Отсюда у поэта неизменное и возрастающее чувство опасности. Ему казалось: кольцо сжимается. Откуда придет опасность, не знал. Но почти реально казалось, что долго ждать не придется.

— Я не могу! Ты понимаешь? Не могу! Ты друг мне или нет? Друг! Так вот! Я хочу, чтобы мы спали в одной комнате! Не понимаешь? Господи! Я тебе в сотый раз говорю, что меня хотят убить! Я как зверь чувствую это!

Вольф Эрлих, к которому были обращены эти слова, вспоминал в дальнейшем, что Есенин в форме застарелой истерии говорил, что его хотят убить и что потенциальный убийца сам ему признавался, как дважды подбирался к его комнате и непременно зарезал бы, если бы Есенин был один.

Он сбросил с балкона свой бюст из гипса работы Коненкова. Дескать, если “мое изображение” разбилось на части, значит, смерть просвистит мимо.

В самых непотребных забегаловках он бесстрашно вступал в любые потасовки и два или три раза действительно находился на волосок от гибели. Что называется, искушал судьбу. Пронесло? Значит, еще поживем. В Тифлисе он едва не ввязался в потасовку в одном из духанчиков. Удержали грузинские друзья-поэты, Георгий Леонидзе крикнул ему тогда:

— Смотри, Сергей! Христофора Марло убили в кабацкой драке.

Там же, в Тифлисе, предложил Георгию драться на дуэли.

— Зачем? — удивился тот.

— Ты что, не понимаешь? — последовал ответ. — Завтра все узнают, что Есенин и Леонидзе дрались на дуэли. Неужели это тебя не соблазняет?

Пушкин, Лермонтов постоянно маячили перед его глазами. Дуэль так дуэль.

Придя однажды к Зинаиде, Есенин сообщил ей о своей

будущей поездке в Персию, затем мрачно произнес:

— И там меня убьют.

В Тбилиси у подножия Мтацминды стоял, не отрываясь от решетки, за которой, в глубине небольшого грота, была могила Грибоедова. Ему вспомнилось пушкинское “Путешествие в Арзрум”: “Откуда вы? — Из Тегерана. — Что везете? — Грибоеда!”

В Москве позвонил сестре Ани Назаровой, и та услышала в трубку, что “умер Есенин”… Переполох, слезы, брань — когда узнали, что это, с позволения сказать, шутка.

А однажды заявил Грузинову:

— Напиши обо мне некролог.

— Некролог?

— Некролог. Я скроюсь. Преданные мне люди устроят мои похороны. В газетах и журналах появятся статьи. Потом я явлюсь. Я скроюсь на неделю, на две, чтобы журналы успели напечатать обо мне статьи. А потом я явлюсь.

И выкрикнул, с каким-то диким торжеством и надсадой:

— Посмотрим, как они напишут обо мне! Увидим, кто друг, кто враг!

Проговаривался в минуту откровенности:

— Когда помру — узнаете, кого потеряли. Вся Россия заплачет.

Во время одной из последних встреч с Мариенгофом проронил:

— Толя, когда я умру, не пиши обо мне плохо”, — словно знал, какие мемуары напишет о нем бывший друг. А при последнем посещении Госиздата перед отъездом в Ленинград уговаривал Евдокимова “выкинуть к черту” написанную им автобиографию:

— Ложь, ложь там все! Любил, целовал, пьянствовал… не то, не то…

Критику о себе читал с горьким смехом и словно предчувствовал, что разразится на страницах газет и журналов после того, как его не станет.

Когда Евдокимов стал ему говорить, что он не может сам написать о Есенине, ибо не знает, как жил поэт, Сергей задумался, а потом вдруг закричал, и в голосе его слышались похвальба и презрение одновременно:

— Обо мне напишут, напи-и-шут! Много напи-ишут!

При жизни поэт читал о себе статейки в лучшем случае поверхностные, в худшем — просто издевательские. А еще интереснее было знакомиться с пародиями. Одна из них, напечатанная в “Жизни искусства”, как бы сконцентрировала в

себе всю критическую “есенинианy” и всевозможные слухи и сплетни, тянущиеся за поэтом наподобие черного шлейфа.

Слишком легко стали даваться стихи. Для него уже не существовало тайн поэтического творчества, и, казалось, он подошел к некоему пределу в своем творческом развитии и в смущении остановился перед ним. Работа уже не доставляла ему прежней радости, пропало ощущение победы, достигнутой после тяжелого преодоления сопротивления поэтического материала.

Легенда о Маяковском, как о великом труженике, переворачивавшем “единого слова ради тысячи тонн словесной руды”, оказывается лишь легендой, когда начинаешь думать о Есенине, как о работнике. Он-то в отличие от Маяковского не придавал никакого значения комфорту внешнему или внутреннему. Чем тяжелее стояла перед ним творческая задача, тем с большим вдохновением он решал ее. Ощущение дискомфорта возникло тогда, когда этого удовлетворения не стало, когда даже избитые выражения приобрели под пером мастера свой первозданный смысл, все поэтические горизонты казались достигнутыми. Потому-то он и думал начать повесть или роман, перейдя на прозу, рассчитывал преодолеть новый порог, вновь ощутить ту радость творческой победы, что приходит после тяжелого напряженного труда.

Работа над “Черным человеком” вернула ему прежнее чувство. Сопротивление материала было колоссальным, душевная и духовная сила достигала такой концентрации в процессе работы, какой он уже давно, казалось, не испытывал.

К ноябрю поэма приобрела совершенно новый вид, но и это был еще не окончательный текст. Слишком много значила она для Есенина, и он упорно работал, шлифуя каждую строчку. Наседкин вспоминал, как дважды заставал поэта в цилиндре и с тростью перед зеркалом, “с непередаваемой, нечеловеческой усмешкой разговаривавшим с… отражением или молча наблюдавшим за собой и как бы прислушиваясь к себе”.

Есенин никогда не работал в “черновом” состоянии и недвусмысленно высказался однажды, отметая все подозрения на сей счет: “Я ведь пьяный никогда не пишу”. А уж эта сверхнапряженная работа требовала особенно ясной головы и абсолютной чуткости каждого нерва.

Он читал еще не законченную поэму ленинградским друзьям во время приезда в Питер в начале ноября.

Действие романа разворачивается глубокой ночью в полнолуние, когда силы зла властвуют безраздельно и приходят соблазнять душу поэта. Тихий зимний пейзаж, уже знакомый нам по последним лирическим стихотворениям, на сей раз теряет

свою умиротворенность, и кажется, что снова нечто угрожающее притаилось в самой ночной тьме, каждое дуновение ветра воспринимается как предвестие появления “прескверного гостя”… Ощущение страшного одиночества рождает желание обратиться к неведомому другу, который, увы, не придет и не протянет руку помощи.

А на поэта тем временем надвигался очередной суд — работало “дело” по обвинению в оскорблении дипкурьера. Поэт бросился к Луначарскому, который позднее рассказывал, как Есенин умолял, чтобы его выручили. Подано это было так, что кончался человек от запоев. А Есенин просил конкретной помощи в избавлении от судебного разбирательства.

В результате народному судье Липкину было отправлено два письма. Одно за подписью Луначарского, который отмечал, что “Есенин… больной человек. Он пьет, а пьяный перестает быть вменяемым… Устраивать из-за ругани в пьяном виде, в котором он очень раскаивается, скандальный процесс крупному советскому писателю не стоит”.

Второе письмо написал Вардин, отметив, что Есенин “находится под наблюдением Кремлевской больницы” и на днях был обследован. Поэт в это время сидел в квартире Толстой, дописывая “Черного человека”. Вардин аргументировал свое письмо с политической точки зрения: “…Подчеркиваю, что антисоветские круги, прежде всего, эмигранты, в полной мере используют суд над Есениным в своих политических целях”.

Ходатайства успеха не имели. Дело закрыто не было, и каждый день приходили повестки в милицию. Есенин к этому времени уже несколько раз то соглашался ехать за границу на лечение, то снова отказывался. Но тут махнул на все рукой, согласился на уговоры сестры Екатерины и лег в психиатрическую клинику профессора Ганнушкина.

Заведующим отделением в этой клинике был отец невесты Ивана Приблудного — Петр Михайлович Зиновьев, хорошо знавший поэта. Он-то фактически и оградил Есенина от всех неприятностей, связанных с судебным разбирательством.

Есенин был помещен в клинику на два месяца, но не пробыл в ней и одного. В это время он несколько раз покидал лечебницу. Навестил Евдокимова, которому сообщил, что лежать в больнице “над-д-до-ело!”, и спрашивал, передала ли Екатерина для первого тома последние стихи.

За три недели пребывания в клинике Есенин написал шесть стихотворений, вошедших в цикл “Стихи о которой”. Каждое из них — лирический шедевр: “Клен ты мой опавший…”, “Какая ночь! Я не могу…”, “Не гляди на меня с упреком…”, “Ты меня не

любишь, не жалеешь…”, “Может, поздно, может, слишком рано…”, “Кто я? Что я? Только лишь мечтатель…”

Больница оказывала на Есенина угнетающее воздействие. Одна психически больная девушка едва не повесилась. Бывало, что больные оглашали палаты и коридоры криками.

“…Нужно лечить нервы, — пишет Есенин из больницы Чагину, — а здесь фельдфебель на фельдфебеле. Их теория в том, что стены лечат лучше всего без всяких лекарств… Все это нужно мне, может быть, только для того, чтоб избавиться кой-каких скандалов. Избавлюсь, улажу, пошлю всех в кем и, вероятно, махну за границу. Там и мертвые львы красивей, чем наши живые медицинские собаки”.

Заграница — далеко, а первоочередной план следующий: разойтись с Толстой: “больше так жить невозможно!.. послать всех в кем” и сбежать из Москвы в Ленинград. Перебраться туда насовсем. Эрлих найдет две-три комнаты, да и остановиться на первое время есть у кого. В Москве больше ловить нечего, а в Питере он наладит наконец свой журнал. Там Ионов, там Жорж Устинов, с которым он встретился во время недавнего приезда туда и который прикатил вместе с ним в Москву. Ему обещали помочь…

Он пишет письмо Евдокимову с просьбой все деньги выдавать только ему в руки — не Соне, не Екатерине, не Илье “двоюродному брату”.

Плюнув на все лечение, 21 декабря поэт уходит из клиники. Впереди — Питер! Собрание сочинений, журнал, работа, новая жизнь!

Незадолго до поездки в Ленинград в ноябре перед больницей поэт позвонил Бениславской: “Приходи проститься”. Сказал, что и Соня придет, а она в ответ: “Не люблю таких проводов”.

Был у Миклашевской и просил навещать его в клинике. Та думала, что навещать Есенина будет Толстая, но та не пришла ни разу.

Пришел в Госиздат. Перед приходом туда как следует выпил. Конец больничному воздержанию! В Питере он с этим покончит. А с матушкой-Москвой надо проститься как полагается, по-московски! Написал заявление об отмене всех доверенностей. Хотел получить деньги, но так и не получил.

Кое-что из госиздатовских денег скопилось к этому времени на сберкнижке. Он снял всю сумму, “оставив лишь один рубль”, и на следующий же день отправился… в Дом Герцена.

Это последнее посещение Есениным московского писательского дома присутствующие запомнили надолго. Поэт, словно задался целью разом свести все счеты. Писатели

услышали о себе тогда много “нового”, брошенного прямо в лицо. “Продажная душа”, “сволочь”, “бездарь”, “мерзавец” — сыпалось в разные стороны. Подобное случалось и раньше, но теперь все это звучало с надрывом, поистине от души, с какой-то последней отчаянной злостью.

“Хулиган!”, “Вывести его!” — раздалось в ответ. Есенина с трудом удалось вытащить из клуба. Вдогонку ему неслось:

— Довел себя, довел. Совсем спился!

Он появился там снова уже под вечер. Сидел за столом и пил, расплескивая вино.

— Меня выводить из клуба? Меня называть хулиганом? Да ведь все они — мразь и подметки моей, ногтя моего не стоят, а тоже мнят о себе… Сволочи!.. Я писатель. Я большой поэт, а они кто? Что они написали? Что своего создали? Строчками моими живут! Кровью моей живут и меня же осуждают.

“Это не были пьяные жалобы, — писал уже после смерти поэта сидевший тогда с ним за одним столом Евгений Сокол. — Чувствовалось в каждом слове давно наболевшее, давно рвавшееся быть высказанным, подолгу сдерживаемое в себе самом и, наконец, прорывавшееся скандалом. И прав был Есенин. Завидовали ему многие, ругали многие, смаковали каждый его скандал, каждый его срыв, каждое его несчастье. Наружно вежливы, даже ласковы были с ним. За спиной клеветали. Есенин умел это чувствовать внутренним каким-то чутьем, умел прекрасно отличать друзей от “друзей”, но бывал с ними любезен и вежлив, пока не срывался, пока не задевало его что-нибудь очень уж сильно. Тогда он учинял скандал. Тогда он крепко ругался, высказывал правду в глаза, — и долго после не мог успокоиться. Так было и на этот раз”.

Упомянутый разговор поэт вел буквально на последних нервах. И — заходился в крике, когда вспоминал Ширяевца. Он пытался найти его могилу на Ваганькове, куда ходил с Вольфом Эрлихом. Тогда Есенин был потрясен, услышав помин священника за расстрелянного императора и его семью. Это в советской-то Москве 25-го года… А могилу Ширяевца так и не смог найти. Она находилась в совершенно жутком состоянии — была почти сровнена с землей.

И сейчас Есенина трясло при одном воспоминании об этом.

— Ведь разве так делают? Разве можно так относиться к умершему поэту? И к большому, к истинному поэту! Вы посмотрели бы, что сделали с могилой Ширяевца. Нет ее! По ней ходят, топчут ее. На ней решетки даже нет. Я поехал туда и плакал там навзрыд, как маленький плакал. Ведь все там лежать будем — около Неверова и Ширяевца! Ведь скоро, может быть,

будем — а там даже и решетки нет. Значит, подох, — и черт с тобой! Значит, так-то и наши могилы будут?.. Я сам дам денег, только чтоб ширяевская могила была как могила, а не как черт знает что. Ведь все там лежать будем…

Под конец, уже поздним вечером, Есенин читал последние стихи и, конечно, “Черного человека”. “Это было подлинное вдохновение”, — вспоминал Сокол.

А на следующее утро Есенин, опять выпивший, уже сидел в Госиздате и ждал денег за собрание. Сидел долго, но так и не дождался. Гонорар был выписан, но денег в кассе не было.

Пока ждал, беседовал с Евдокимовым.

— Лечиться я не хочу! Они меня лечат, а мне наплевать, наплевать! Скучно!.. Надо сходить к Воронскому проститься. Люблю Воронского. И он меня любит.

Сидел у Воронского, читал “Черного человека”. Потом вернулся к Евдокимову.

— Ты мне корректуры вышли в Ленинград… Я тебе напишу. Как устроюсь, так и напишу… Остановлюсь я… у Сейфуллиной… у Правдухина… у Клюева… Люблю Клюева. У меня там много народу. Ты мне поскорее высылай корректуры.

Потом уединился в пивной с Тарасовым-Родионовым, которого знал по ВАППу и компании Вардина. Именно Тарасов-Родионов взял у Есенина в свое время при посредничестве Берзинь “Песнь о великом походе” для “Октября”.

Есенин хвалил повесть своего собеседника “Шоколад” и поносил последними словами Пильняка, Анну Берзинь, а заодно и Воронского. Крайне неприязненно отзывался о своих родных — но все это как будто наедине с самим собой, погружаясь в себя, словно его и не слышит никто. Потом поднимал голову и начинал убеждать не столько сидящего перед ним писателя, сколько еще кого-то, и в первую очередь, вероятно, себя самого:

— Я работаю, я буду работать, и у меня еще хватит сил показать себя. Я много пишу, и еще много надо писать… Я не выдохся. Я еще постою. И это зря орет всякая бездарная шваль, что Есенин — с кулацкими настроениями, что Есенин — чуть ли не эмигрант…

Кончилось пиво, надоело ждать… Есенин нетвердой походкой дошел до Госиздата, вышел оттуда с чеком. Сказал, что брат Илья получит деньги и переведет ему.

В этот же вечер появился в квартире брошенной им Софьи. Там сидели Наседкин и сестра Шура. Мрачный, насупившийся поэт вошел, не сказав никому ни слова, сложил как попало вещи в несколько чемоданов, с помощью Ильи и извозчиков вынес их из квартиры. Процедил сквозь зубы “до свиданья”, повернулся и

вышел.

И только внизу, улыбнувшись, помахал рукой сестренке, выбежавшей на балкон.

Отправился в студию к Якулову. Там снова как следует “принял на грудь”. Простился — и на вокзал.

На вокзале встретил Клычкова. Выпил напоследок и с ним.

Около полуночи поезд отошел от платформы.

Прибыв в Ленинград, Есенин не остановился у Эрлиха. Не навестил он ни Правдухина, ни Сейфуллину, как собирался, не остановился и у Клюева. Единственный из писателей, к кому он зашел после прибытия, был Садофьев. После этого Есенин отправился в знакомую ему гостиницу “Англетер”.

В гостинице он поначалу оседать не собирался. И тут возникает первая странность. Из своей предыдущей поездки в Ленинград он вернулся вместе с Жоржем Устиновым. А теперь приехал в Питер снова… вместе с ним. Жорж был работником ленинградской “Красной газеты” и, естественно, держал руку на пульсе происходящих событий. Он и снял для Есенина 5-й номер в “Англетере”, где жил вместе с женой Елизаветой.

Зачем? По своей ли инициативе? Он ли уговорил Есенина поселиться в гостинице?

Дело в том, что “Англетер” был ведомственной гостиницей для ответственных работников и в дни съезда находился под неусыпным контролем и тщательным наблюдением сотрудников ленинградского ОГПУ. Подобное соседство никак не могло радовать поэта. Он специально просил никого не пускать к нему в номер, так как за ним могут следить из Москвы.

Чувствовал за собой слежку, но совершенно не разобрался в причинах, породивших ее.

Комендантом гостиницы был чекист Назаров, в годы гражданской войны служивший в карательном отряде и принимавший участие в расстрелах.

Четыре есенинских дня прошли в предпраздничной суете и постоянных гостях. Есенин наведывался к Клюеву, с которым встретился очень сердечно, хотя тут же не преминул зло подшутить над старшим собратом и погасил у него лампадку перед иконой, сказав, что, мол, все равно не заметит… Потом привел Клюева к себе в номер, где читал стихи, а Клюев жестоко обидел своего “жавороночка”:

— Вот переплести бы эти стишки, Сереженька, в шелковый переплет, были бы настольной книжечкой для всех нежных девушек и юношей в России.

Чуть не поругались снова, но простились с любовью.

Чтение стихов перемежалось литературными спорами, в

которых возникали самые разнообразные имена — от Пушкина до Владислава Ходасевича. Время от времени Есенин запевал одну из любимейших песен — песню тамбовских повстанцев:

На заре каркнет ворона.
Коммунист, взводи курок!
В час последний похорона
Расстреляют под шумок.

Приблудный, перебравшийся в Ленинград, художники Ушаков и Мансуров, неизменно крутящийся вокруг Вольф Эрлих — все побывали тут. Есенин не терпел одиночества, а в последние дни — тем более. И просил Эрлиха оставаться у него ночевать, а когда тот все же уходил домой, Есенин спускался вниз к номеру Устинова и до раннего утра сидел в вестибюле, чтобы потом постучать и попроситься в номер к Жоржу и его жене.

Это было достаточно серьезно. Но либо жители “Англетера” сочли происходящее за чудачество, либо, что?

Через много лет вдова управляющего гостиницей Назарова Антонина Львовна рассказывала, как в 11-м часу вечера 27-го числа ее мужа вызвали в гостиницу. Прибыв туда, он увидел там двух своих начальников — работников ОГПУ Пипия и Ипполита Цкирия. Примчался же он в гостиницу, получив известие, что с Есениным — “несчастье”.

27-е число! 11 часов вечера! И первые некрологи также указывали на 27-е число.

Что же произошло?

Георгий Устинов потом вспоминал, какая тяжесть его охватила 27-го числа и как он почувствовал, что что-то произойдет. К его мемуарам надо относиться вообще с крайней осторожностью. В первом же некрологе “Сергей Есенин и его смерть” он ничтоже сумняшеся заявил, что поэт отправился в Ленинград именно умереть и повесился “по-рязански”, а в написанных позднее воспоминаниях уже утверждал прямо противоположное — что Есенин приехал жить, а не умирать. Но так или иначе, обратимся к последним мгновениям, когда Есенина еще видели живым.

Он совершенно не пил все эти четыре дня. Утверждал, что “мы только праздники побездельничаем, а там за работу”. Журнал. Вот что не давало ему покоя. Ничего, скоро приедет Наседкин и они начнут выпускать номера.

Кто бы ему объяснил, что не на кого рассчитывать, что все рушится, что взявшие на себя роль его “покровителей” проваливаются с треском?

Итак, первое: журнал. Как бы тяжело ни стало в какую-то минуту на душе, но полезть в петлю, отказавшись от своей заветной мечты, когда, казалось, так близко ее осуществление? Странно!

Он сидел за столом, накинув шубу, и просматривал старые стихи. Это был один из экземпляров собрания, том, взятый им с собой. Еще ведь предстоит работа над гранками.

Полностью углубился в чтение… Этого собрания он ждет до нервной дрожи… И, не дождавшись, головой в петлю? Несерьезно.

Одно из двух: либо неудачная шутка, окончившаяся трагически, либо убийство, происшедшее в эти 2-3 часа, начиная с 8 вечера.

Однако… на полу сгустки крови, в номере царит страшный разгром, клочья рукописей и окурки валяются на полу “это при его всегдашней аккуратности” во время работы, свежая рана на правом предплечье, синяк под глазом и большая рана на переносице…

И, наконец, в ожидании нападения из-за угла Есенин всегда в последний год носил с собой револьвер, который привез с Кавказа. Судя по тому, как Есенин уезжал в Ленинград, естественно предположить, что оружие он взял с собой: ясно ведь, что ощущение опасности не отступило, а еще более усилилось. И — обрекать себя на мучительную смерть в петле, когда проще простого поднести дуло к виску?

Револьвер не был найден работниками милиции, но это ничего не значит. К моменту их приезда из номера уже кое-что пропало.

“Когда нужно было отправить тело в Обуховку, не оказалось пиджака “где он, так и неизвестно”. Устинова вытащила откуда-то кимоно, и, наконец, Борису Лавреневу пришлось написать расписку от правления Союза писателей на взятую для тела простыню “последнее мне рассказывал вчера вечером сам Борис…” Это дневниковая запись Иннокентия Оксенова, помеченная 29 декабря 1925 года.

Итак, чемодан раскрыт. И, как можно понять по сверхосторожному описанию Рождественского, вещи были вывалены на пол. Впрочем, еще более яркую картину обстановки 5-го номера после происшедшей трагедии рисовали авторы газетных заметок: “В комнате стоял полнейший разгром. Вещи были вынуты из чемодана, на полу были разбросаны окурки и клочки разорванных рукописей…”

Еще более конкретизировал увиденное в 5-м номере “Англетера” утром 28 декабря санитар Казимир Маркович

Дубровский. Рассказывал он, правда, уже через много лет, пережив несправедливый арест, заключение в лагере и как бы все еще опасаясь проронить лишнее:

“Там на полу лежала скатерть, битая посуда. Все было перевернуто. Словом, шла страшная борьба…”

В другой раз с его же слов стало известно, что “в номере С. Есенина были следы борьбы и явного обыска. На теле были следы не только насилия, но и ссадины, следы побоев. Кругом все разбросано, раскидано, битые разбросанные бутылки, окурки…”

Дубровский так и не сообщил, почему его подписи нет ни на одном из документов, составляющих “дело о самоубийстве С. Есенина”, что за врач осматривал тело погибшего поэта на месте происшествия, на каком основании был сделан вывод, о котором сообщали газеты: “смерть наступила за 6-7 часов до обнаружения трупа” (по другим сведениям, за 5-6 часов) — и почему время наступления смерти не зафиксировано в акте судебно-медицинской экспертизы. Известно только, что престарелый, много переживший санитар произнес незадолго до смерти: “Я ни за что сидел, а за что-то тем более не хочу…”

В гостиницу утром 28 декабря выезжал агент уголовного розыска 1-й бригады (занимавшейся только расследованием убийств!) Ф. Иванов. Его подписи, тем не менее, нет ни на одном документе. Протокол же осмотра места происшествия составлял учнадзиратель 2-го отделения милиции Н. Горбов, бывший сотрудник Административно-Секретного Отделения УГРО, проработавший к этому времени в отделении милиции около 6 месяцев. Человек полуграмотный, не знакомый с элементарными правилами описания места происшествия (можно ли в это поверить, говоря о работнике УГРО с трехлетним стажем работы!), он и составил соответствующий “Акт”:

> Акт о самоубийстве Есенина.
> Составил участковый надзиратель
> 2-ого отделения Ленинградской милиции
> 28 декабря 1925 г .
> Рукой участкового надзирателя Н. Горбова.
> 28 декабря 1925 года составлен настоящий акт мною, участковым надзирателем. 2-ого отд. ЛГМ Н. Горбовым в присутствии управляющего гостиницей “Интернационал” тов. Назарова и понятых. Согласно телефонного сообщения управляющего гостиницей гражданина Назарова Василия Михайловича о повесившемся гражданине в номере гостиницы. Прибыв

на место, мною был обнаружен висевший на трубе центрального отопления мужчина в следующем виде: шея затянута была не мертвой петлей, а только одной правой стороной шеи, лицо было обращено к трубе и кистью правой руки захватился за трубу, труп висел под самым потолком и ноги от пола были около 1,5 метров , около места, где обнаружен был повесившийся, лежала опрокинутая тумба, а канделябр, стоящий на ней, лежал на полу. При снятии трупа с веревки и при осмотре его было обнаружено на правой руке выше локтя с ладонной стороны порез, на левой руке на кисти царапины, под левым глазом синяк, одет в серые брюки, ночную белую рубашку, черные носки и черные лакированные туфли. По представленным документам повесившийся оказался Есенин Сергей Александрович, писатель, приехавший из Москвы 24 декабря 1925 года. Удостоверение ТЦ № 42-8516, и доверенность на получение 640 рублей на имя Эрлиха.

Управляющий — Назаров

Понятые — В. Рождественский, П. Медведев, М. Фроман

Милиционер — [неразб.]шинский

Уч. надз. 2-ого отд. ЛГМ Н. Горбов.

А теперь снова обратимся к дневнику Иннокентия Оксенова:

“Номер был раскрыт. Направо от входа, на низкой кушетке лежал Сергей в рубашке, подтяжках, серых брюках, черных носках и лакированных лодочках. Священнодействовал фотограф Наппельбаум — спокойный мужчина с окладистой бородой. Помощник держал слева от аппаратов черное покрывало для лучшего освещения. Правая рука Есенина была согнута в локте на уровне живота, вдоль лба виднелась багровая полоса “ожог от накаленной трубы парового отопления, о которую он ударился головой?), рот полуоткрыт, волосы страшным нимбом вокруг головы, развившиеся.

Хлопотала о чем-то Устинова. Пришли Никитин, Лавренев, Семенов, Борисоглебский, Слонимский “он плакал”, Рождественский. Тут же с видом своего человека сидел Эрлих…

Понесли мы Есенина вниз — несли Рождественский, Браун, Эрлих, Лавренев, Борисоглебский и я, по узкой черной лестнице во двор, оттуда на улицу, положили Сергея в одной простыне на дровни “поехал он в том, что на нем было надето, только лодочки, по совету милиционера, сняли — “наследникам пригодятся”. Хороший милиционер, юный, старательный. Подошла какая-то дама в хорьковой шубе, настойчиво потребовала: “Покажите мне его”. И милиционер бережно раскрыл перед нею мертвое лицо. Лежал Есенин на дровнях; головою вниз, ничего под тело не было подложено. Милиционер весело вспрыгнул на дровни, и извозчик так же весело тронул. Мы разошлись, и каждый унес в себе злобу против кого-то, погубившего Сергея”.

Время не внесло никаких коррективов в восприятие этих предсмертных есенинских восьми строк, и ныне люди, убежденные в версии самоубийства поэта, ссылаются именно на последние стихи:

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки,
без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Эти два четверостишия были записаны утром 27 декабря. О дальнейшем рассказывал Эрлих:

“Есенин нагибается к столу, вырывает из блокнота листок, показывает издали: стихи. Говорит, складывая листок вчетверо и кладя в карман моего пиджака:

— Тебе.

Устинова хочет прочесть.

— Нет, ты подожди! Останется один, прочитает”.

Эрлих вспомнил о стихах только на следующий день после гибели Есенина.

Непосредственные свидетели последних четырех есенинских дней, а также людей, в большей или меньшей степени близких к Есенину в его последние месяцы — об этом стоит сказать несколько слов.

Георгий Устинов повесился при невыясненных обстоятельствах в 1932 году, оставив записку, написанную кровью, содержание которой неизвестно по сей день. Судьба его жены Елизаветы неизвестна.

Вольф Эрлих был расстрелян в 1937 году. Учнадзиратель Н. Горбов был арестован в начале 30-х годов и бесследно исчез. Управляющий гостиницей чекист Назаров был арестован в 1929 году и отправлен на Соловки, откуда вернулся через несколько лет морально и физически сломленным, умер в 1942 году. Гиляревский умер в 1931 году в возрасте 76 лет. Жена его была арестована и погибла в одном из лагерей.

Галина Бениславская застрелилась 3 декабря 1926 года на могиле Есенина, оставив предсмертную записку, фактически содержавшую обвинение в адрес Льва Сосновского, не успокоившегося и после смерти поэта, продолжавшего публиковать паскудные опусы типа “Развенчайте хулиганство?”. Но когда подруга Галины, Яна Козловская, в день самоубийства Бениславской пришла к ней в квартиру, она обнаружила открытый шкаф, вываленные на пол платья и сущий разгром в комнате. Все говорило о том, что здесь недавно проводили обыск.

Особо в этой связи стоит сказать о Зинаиде Николаевне Райх, которая не верила никогда в самоубийство первого мужа. Слышали, в частности, от нее и реплики, свидетельствующие о том, что рано или поздно она все же намерена разобраться в происшедшей трагедии.

Летом 1939 года Зинаида Райх была зверски убита в своей квартире. В то, что это чистая уголовщина, не верилось многим современникам. Предполагали, что она была убита агентами НКВД, хотя доказательств тому до сих пор нет. Но если предположить, что в ее смерти действительно замешаны сотрудники органов внутренних дел, то чего ради было устраивать эту кровавую баню в квартире арестованного В.Э. Мейерхольда? З.Н. Райх проще простого было бы арестовать как жену “врага народа”. Видимо, этого не было сделано потому, что Зинаида Райх вообще не должна была попасть в НКВД. Она не должна была произнести там ни единого слова.

Здесь уместно привести письмо Константина Есенина, адресованное Матвею Ройзману. Вот что он сообщал в нем о гибели своей матери:

“Всеволод Эмильевич был арестован 20 июня 1939 года. Мне было уже 19 лет. Я отлично помню всю эту “эпопею” в мельчайших подробностях. Что касается смерти Зинаиды Николаевны, то хочу Вас, Матвей Давидович уверить, что “молва” многое нанесла на это довольно просто объясняемое убийство. Не буду Вам об этом писать. Скажу только, что следствие по этому “делу” велось очень бестолково и бессистемно, сомневаюсь и в том, что оно было добросовестным. Ведь известно, что внутренними делами тогда ведал Берия, этим многое сказано.

Я уехал из Москвы в Константиново под Рязань вечером 13 июля, а в ночь с 14 на 15 и случилась трагическая беда.

Ограбления не было, было одно убийство.

Всякие “мифы” о золотых портсигарах и запонках — действительно мифы.

У Мейерхольда никогда не было золотого портсигара, да если бы и был, он был бы конфискован при обыске, так как при арестах и обысках, как известно, все золотые вещи конфискуются.

Насколько мне известно, из весьма солидных источников, по делу матери были осуждены три совершенно между собой не связанные бандитские группы…”

Есененские похороны были грандиозными. Так еще не хоронили ни одного русского поэта.

Расходы по похоронам Есенина были приняты на государственный счет. Было решено перевезти тело в Москву для захоронения на Ваганьковском кладбище — рядом с могилами Неверова и Ширяевца. На Доме печати висел транспарант: “Тело великого русского национального поэта Есенина покоится здесь”.

К Дому печати прибыл военный оркестр, организованный соратником Фрунзе М. Лашевичем. Тело еще не было предано земле, а уже устраивалось театральное представление возле гроба с участием маленькой Танечки, читающей стихи погибшего отца и “Мороз и солнце…” Пушкина.

Есенина в последний скорбный путь провожили огромные массы почитателей его таланта.

А. Миклашевская вспоминает похороны Есенина:

“Когда я шла за закрытым гробом, казалось, одно желание было у меня — увидеть его волосы, погладить их. И когда потом я увидела вместо его красивых, пышных, золотых волос прямые,

гладко причесанные, потемневшие от глицерина волосы — “смазали, снимая маску”, мне стало его безгранично жалко.

Есенин был похож на измученного, больного ребенка. Все время, пока гроб стоял в Доме печати на Никитском бульваре, шли гражданские панихиды. Качалов читал стихи. Зинаида Райх обнимала своих детей и кричала:

— Ушло наше солнце.

Мейерхольд бережно обнимал ее и детей и тихо говорил:

— Ты обещала, ты обещала…

Мать Есенина стояла спокойно, с каким-то удивлением оглядывая всех. В день похорон нашли момент, когда не было чужих, закрыли двери, чтобы мать могла проститься, как ей захочется”.

Гроб трижды обнесли вокруг памятника Пушкину.

Поэта на кладбище провожали толпы людей. Под плач и крики:

— Прощай, Сережа! — гроб опустили в могилу на Ваганьковском кладбище. На насыпном холме воздвигли простой деревянный крест.

В своих воспоминаниях об Айседоре и Сергее Есенине Мэри Дести написала о том, как Айседора встретила весть о смерти Есенина:

“28 декабря 1925 г . Айседора получила сообщение о трагической смерти бедного Сергея. Страшный год дебошей, большую часть которого Сергей, потускневший и обтрепавшийся, провел в низкого пошиба заведениях, окончательно подорвал его здоровье. Его поместили на несколько месяцев в санаторий. Вернувшись, Сергей оказался без денег и ни у кого их не мог достать. Он ненавидел свою бедность и решил, что смерть “лучший выход”.

Есенин — один из прекраснейших русских поэтов. Он мог бы сделать великолепную карьеру, но страшная смесь, которая была в его натуре, смесь монашеской кротости и неистовства Пугачева, этого Робин Гуда России двухсотлетней давности, заставляла его быть крайне разным — от нежного до зверя. Во время своей поездки по Америке он заявил: “Америка убивает душу, она — не место для великого поэта”.

В Москве над ним смеялись за любовь к шелковым цилиндрам, лаковым туфлям и яркой одежде. Он считал себя очень элегантным, но под блеском его одежды всегда чувствовался и виделся крестьянин.

Первой совместной поездкой Айседоры и Есенина была поездка в Ленинград, где они остановились в гостинице “Англетер”. Как-то утром Сергей указал на большой крюк в углу

комнаты и сказал:

— Вот превосходное место, чтобы повеситься!

А в 1925 г . он с подорванным здоровьем и павший духом вернулся в эту комнату и повесился. Именно на этом крюке, взрезав предварительно вену и написав стихотворение.

Известие о смерти Сергея привело Айседору в состояние шока. Она писала мне: “Бедный Сереженька, я столько плакала о нем, что в глазах больше нет слез”.

Через два года после Есенина погибла Айседора.

Мэри Дести о ее гибели:

“Мы проговорили до 7.30. Айседора оделась. На ней была юбка в складку и знаменитая китайская красная шаль, которую я для нее разрисовала. Шаль была два ярда длиной и шестьдесят дюймов шириной, из тяжелого крепа, почти всю ее покрывала большая желтая птица с синими китайскими астрами и черными иероглифами — великолепная вещь, светоч жизни Айседоры. Она без нее никуда не ходила. Если она ее не надевала, то вывешивала с балкона студии в Париже, так, чтобы всегда можно было на нее посмотреть. Рисунок ее очаровывал, а из иероглифов она пыталась вычитать что-то значительное.

Она сказала:

— Пошли на ту сторону к Анри и выпьем коктейль.

Мы посидели перед кафе, Айседора с Иваном выпили по коктейлю, а я рюмку портвейна. Затем Иван пригласил нас с ним пообедать. Айседора согласилась при условии, что мы пообедаем в этом же кафе, но сначала мы зашли в отель, и она написала небольшую записку Буггатти.

Мы пошли в студию, она прикрепила записку булавкой к двери. Это были самые последние слова, которые она написала: “Je suis en face chez Henri” (Я напротив у Анри” — фр.). Всю дорогу до ресторана она проскакала, не в силах справиться с необъяснимой радостью. Она сказала:

— Если бы ты только посмотрела на лицо Лоэнгрина, когда он увидел Буггатти, ты бы поняла, что он меня все еще любит. Я так счастлива. Когда приедет Буггатти, я улетаю на луну, так что не удивляйся, если меня больше не увидишь.

Когда мы кончали свой очень простой обед, создалось впечатление, что на наш стол между мною и Айседорой опустилась огромная черная туча. Я охнула:

— О, Господи, Айседора, происходит что-то ужасное.

Айседора воскликнула:

— Мэри, ради Бога, что случилось? Я в жизни не видела такого трагического лица. Что это? Почему ты дрожишь?

Официант, принесите рюмку бренди!

Я сказала, что не хочу никакого бренди и через минуту приду в себя. Официант принес бренди, и Айседора настояла, чтобы я его выпила. Было точно девять.

Айседора сказала:

— Девять, нам надо поспешить.

Она взяла меня под руку и спросила:

— Ну, Мэри, что же случилось?

И я ответила:

— Пожалуйста, Айседора, не езди ты на этой машине. У меня жутко расшатались нервы: боюсь, что с тобой что-то случится.

— Дорогуша, я бы поехала сегодня, даже если бы знала, что это моя последняя поездка. В этом случае я бы еще быстрее поехала. Но не беспокойся, Буггатти не приедет.

Мы вошли в студию, она включила полный свет, пустила граммофон и начала дико танцевать. Вдруг она увидела в окно, что подъехал в своей машине Буггатти. Она подошла к двери. Я стала просить:

— Айседора, пожалуйста, надень мой черный плащ, стало совсем холодно.

— Нет, нет, дорогая, ничего, кроме моей красной расписной шали.

Я вышла первой, а Иван шел за ней и, не обращая внимания на ее протесты, накинул ей на плечи ее собственную красную шерстяную шаль. (Ту самую, в которой она всегда танцевала “Марсельезу”). Я побежала вперед и сказала Буггатти:

— По-моему, вы не понимаете, какого великого человека вы сегодня повезете. Умоляю вас быть осторожным, и если она будет просить ехать побыстрее, умоляю — не делайте этого. Я сегодня страшно нервничаю.

— Мадам, бояться вам нечего, — ответил он. — У меня в жизни не было никаких аварий.

Вышла Айседора. Увидев ее красную шаль, он предложил ей свой кожаный пиджак. Она закинула конец шали через плечо и покачала головой со словами: — Adieu, mes amis. Je vais la gloire (“Прощайте, друзья мои. Я иду навстречу славе!” — фр.).

Это были последние слова, произнесенные Айседорой Дункан. Через минуту после этого она была мертва.

Как объяснить, что произошло? Когда машина медленно двинулась и не успела еще отойти и на десять ярдов, я заметила, что бахрома ее шали тянется по земле, как текущая вниз тонкая струйка крови. Я закричала:

— Айседора, твоя шаль, твоя шаль!

Вдруг машина остановилась, и я сказала Ивану:

— Беги быстрее к Айседоре и скажи ей, что у нее свисает шаль и что она разорвется.

Я думала, что машина остановилась, потому что я крикнула, и бросилась к ней.

Остановилось еще несколько машин, и Буггатти пронзительно закричал:

— J'ai tue la Madonne , j'ai tue la Madonne ! ("Я убил Мадонну, я убил Мадонну!" — фр.).

Я подбежала к Айседоре и увидела, что она сидит на том же месте, что и две секунды назад, когда отъезжала, но ее прекрасная голова свешивается через борт, накрепко стянутая шалью.

Эта мощная гоночная машина была двухместная и очень низкая. Сиденье шофера было чуть впереди второго, так что Буггатти, чтобы увидеть шаль, должен был повернуться. Крыльев у машины не было, и когда Айседора закинула конец шали через плечо, тяжелая бахрома зацепилась за заднее колесо с ее стороны. Естественно, несколько поворотов колеса — и бедная прекрасная головка Айседоры ударилась о борт, лицо разбилось и было зажато, как в тисках. Первый же быстрый оборот колеса сломал ей шею, повредив яремную вену, и убил ее на месте, как она того всегда желала; она не мучилась ни секунды и не успела понять, что же происходит".

* * *

После смерти Сергея Есенина писатель Леонид Леонов сказал:

— Крупнейший из поэтов современья…

— Его песни поют везде — от благонадежных наших гостинных до воровской тюрьмы. Потому что имел он в себе песенное дарование, великую песенную силу в себе носил…

— Он уже больше не придет и не пошумит, Есенин…

— Он вечный бунтовщик и крамольник, чудо природы, уникальная фигура в истории XX столетия.

Сергей Есенин имел уникальный разум гения, разум творческого гения.

Человеческий разум состоит из логического, математического, образного и эмоционального мышления. У Есенина, в его творческом разуме преобладало образное и эмоциональное мышление. Есенин имел прекрасную память и

огромное воображение, что свойственно творческим гениям.

Его воображение можно сравнить с воображением Иисуса Христа в период его земной жизни. Благодаря своему воображению Иисус Христос создал для верующих Царство Небесное и внушил верующим мысль о бессмертии их душ. Образное мышление Иисуса Христа помогло ему в своей земной жизни создать много притчей и проповедей, например, Нагорную проповедь, бессмертные и вечные — Заповеди Блаженства.

Иисусу Христу приходилось бороться со своими врагами — фарисеями и книжниками, иудейскими первосвященниками, которые осудили его на крестную казнь. Его воображение, его вдохновение, моменты озарения не порождали у него дурных привычек, как это происходило с Есениным.

У Есенина воображение, вдохновение, творческие озарения порождали такие привычки, от которых он не смог избавиться за свою короткую жизнь.

Почему это так происходило?

После актов творчества Есенину нужно было где-то и как-то разрядить свою творческую энергию и этот процесс выливался в скандалы, дебоши, пьянство, случайные связи с женщинами. Остановиться он не мог. И как он сам говорил, он тогда бы “не смог творить”.

У Достоевского тоже была такая азартная страсть, куда он “сливал” накопившуюся энергию — картежная игра. И только к концу своей жизни, при второй своей жене Анне, которая была на много моложе его, эта страсть улеглась.

Ничего подобного с Есениным не произошло.

И другое — огромное количество положительных образов, копившееся в разуме Есенина, порождали и другие образы — отрицательные. Это были образы о смерти, о преследовании, о неудачах, вырастивших до огромных размеров при большом воображении Есенина.

А могло быть все иначе?

Нет, не могло. И это потому, что Есенин был крайне искренним человеком. Чем писатель и поэт более искренен, тем гениальнее его творения. Но искренность коварна: искренний человек имея какие-либо привычки и наклонности, не совсем хорошие, вынужден верить, что так и нужно из-за своей искренности, и избавиться от них такому человеку практически невозможно, что и произошло с Есенины: ни он сам, никто другой не смогли избавить его от дурных привычек.

Все это дает нам основание предполагать, что он покончил жизнь самоубийством и другого пути у него не было в тех условиях, в которых он жил и творил.

И еще в отношении скандалов и дебошей Есенина. В этом плане Есенин определил свое время менее чем на сто лет. С помощью скандалов Есенин давал выход своему настроению и еще не использованной энергии, которая у него оставалась после творческого взлета — сочинения стихов. А что делает современный человек? То же что и Есенин: он гасит свои чувства, которые не находят другого выхода, в постоянном окружении себя всевозможными звукам — находится дома при включенном радио; если слушает, то обязательно громкую музыку (чтобы и соседи также слышали), а летом при открытом окне; часами смотрит телевизор (лишь бы смотреть), если скандалит, то громко и злобно, ругается матом по поводу и без повода; убивает соседа из-за немотивированной жестокости и бешеной злобе, внезапно возникшей в нем; кончает жизнь самоубийством без видимых причин, и, скорее всего, из-за душевного кризиса.

Напрашивается вопрос: чем современные люди не “маленькие есенины” в плане раздражения и душевного надлома? И самоубийств, по статистике, в наше время стало намного больше, чем было при Есенине. И подобная тенденция продолжает свой рост.

Москва, август 2004

ЛИТЕРАТУРА

Н. Е. Макарова. Серегей Есенин и Айседора Дункан. Минск, 1999

Станислав Куняев, Серегй Куняев. Сергей Есенин. М., ЖЗЛ, 1997

Анатолий Панфилов. Каким был Есенин. М., 1996

Айседора Дункан. Моя жизнь. Моя Россия. Мой Есенин. М., 1992

А. Мариенгоф. Роман без вранья. Циники. Мой век, моя молодость. Л., 1988

Серегей Есенин. Воспоминания родных. М., 1985

Сергей Есенин. Соб. соч. в трех томах. Том 3. М ., 1983

И. С. Эвентов. Сергей Есенин. М., 1978

Воспоминания о Сергее Есенине. Сборник. М., 1965

С. Виноградская. Как жил Есенин. М., 1926

К. и Т. Енко. Тайны разума. М., 2000